

Виктор
Брюховецкий



*Земля
для всех одна*

Виктор Брюховецкий
Земля для всех одна

«Знакъ»

2017

ББК 47.2.1.2

Брюховецкий В. В.

Земля для всех одна / В. В. Брюховецкий — «Знакъ», 2017

ISBN 978-5-91638-125-2

В книгу вошли произведения, многие из которых ранее не публиковались. В авторской редакции

ББК 47.2.1.2

ISBN 978-5-91638-125-2

© Брюховецкий В. В., 2017

© Знакъ, 2017

Содержание

Грачи	6
«Я не был босяком, но бегал босиком...»	8
Лёнька	9
Вовка, Генка, дед Тиша и распроклятая буква «р»	11
Старик и сеттер	14
Белые стрижи	21
История одного рассказа	25
Бабка Ганя и нехристь	35
Однажды ночью	41
Два Ивана	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Виктор Брюховецкий Земля для всех одна. Проза



© Брюховецкий В., проза, 2017

© «Знакъ», макет, 2017



Грачи

Всегда, когда я берусь писать новый рассказ, я вспоминаю строчки хорошего поэта Николая Старшинова: «...*Возможно об этом писать и не следует, // А может, и следует. Я вот пишу*». Действительно – ну кто может сказать: о чем писать следует, а о чем – нет? А коли никто не знает, то я пишу и – да спасут меня эти старшиновские строчки.

У каждого в детстве были свои грачи. У меня они были вот такие.

Давно это было, я еще совсем маленьким был, лет пяти-шести. Семи лет я в школу пошел, а в ту зиму, помню, отец меня и на улицу, пожалуй, ни разу не пустил. Трудное время было. Тяжело жили. Одни штаны и те разноцветные, как на клоуне. Ни сапог, ни катанок. Вот и сидел я всю суровую сибирскую зиму в глухой, заросшей тугими снегами, саманной избушке. Прежним хозяином была поставлена эта избушка косо к ветрам, и заваливали бураны снегами наши окна и двери так, что приходилось моим родителям рыть в снегах целые тоннели, чтобы на простор выйти. Только откопаются, день-другой свежим воздухом подышим, а буран – сызнава. Весело было. Теперь таких буранов не стало, спокойнее зимы пошли. Мягче. Здесь хочу подметить, что самыми буранными у нас были ветры, которые дули с юга. Сейчас не знаю как, но в пятидесятых годах прошлого столетия, когда я только-только начинал познавать этот мир, эти южные ветры были всегда со снегами, с буранами, с грозами и дождями. А вот северные приносили только холод. Я в те годы никак не мог понять стишок – «мороз десятиградусный // трещит в аллеях парка». Как это – десять градусов и трещит? И у меня было представление, что по железнодорожному парку идет дедушка Мороз и палкой трещит по забору. Балуется...

Отец мне тогда хорошее занятие придумал. Левое плечо у него пулей немецкой было поломано, не работал он нигде, пенсия грошовая, а жить нужно было, вот и вязал он сети, зимы напролет вязал. Вязал быстро, а меня научил нитки для него на челнок наматывать.

В ходу было шесть челноков. За день он их спускал все. Сначала мне это занятие туго давалось, а потом ничего, обвыкся. Так зиму и жили. Мать – по хозяйству, отец – с сетями, и я при деле.

Но вот приходила весна. Перво-наперво отогревались окна. В хате светлело, бураны стихали, снег мокрел и оседал. Чем выше становилось небо, тем сильнее мне на улицу охота было. И наступал день, когда батя разрешал мне в галошах, подвязанных веревочками, выйти в снеговую траншею.

Солнце с каждым днем всё круче и круче забиралось на небо, за огородами появлялись первые проплешины черной земли. Утренники были еще крепкими, но держались недолго – солнце ярое входило в силу и первыми лучами сбивало со снегового наста ломкую хрустящую корку. И вот, когда однажды в середине дня в первой весенней лужице начинали с громким чириканьем купаться отогревшиеся воробьи, отец откладывал на подоконник челнок и весело говорил:

– Всё, мать! Перезимовали...

А через день, через два прилетали грачи.

За нашими огородами, на полого раскинувшейся гриве, словно огромный сад, располагался березовый колок. Березы были старые, высоченные. И каждый год на их вершинах гнездились грачи.

Они наваливались на колок черным распахнутым веером и всё оживало.

Снеговая траншея становилась мельче и мельче, плешины оттаявшей земли шире и шире, и, когда на солонцах не оставалось снега, грачи прилетали к нашим огородам.

Наступала пора охоты. Нет, не на уток – на грачей.

Отец доставал из ларя ковш пшеницы, и однажды утром я рассыпал две-три горсти зерна на черной плешине как можно ближе к сараю.

Грачи, наверно, не знали, что они съедобные, и смело садились на приманку. Когда их набиралось достаточно, отец оставлял сеть и брал ружье. Старенькая тульская двустволка! Я смотрел на нее завороченно и старался вобрать в себя каждое отцово движение. Вот он кладет ружье цевьем в левую ладонь и большим пальцем правой руки нажимает черную планку – стволы мягко ломаются. Затем он вкладывает в стволы позеленевшие латунные патроны, незаметное движение и – легкий щелчок – сломанные стволы становятся на место. Два латунных патрона, такие позеленевшие! и старенькое ружье, то самое, что висело всю зиму над кроватью, становится в руках отца чем-то таким торжественным и тревожным, что я слышу, как гулко и сильно стучит мое сердце.

Стрелял отец быстро, целился самую малость. Это я запомнил еще с тех пор и уже потом не раз отмечал батино умение мгновенно реагировать на летящую птицу. Первый весенний дуплет – и полтора десятка исковерканных дробью грачей оставалось лежать на земле.

Как мне завидовали соседские пацаны! Не все жили так, как мы, но были и такие, и победней. Мое счастье заключалось в том, что в нашем доме имелось ружье, а в их домах ружей не было, а у многих и отцов-то не было.

Наверно, не умерли бы мы в тот год с голоду и без грачей, была в доме и картошка, и лук был, а скоро и рыба на столе появилась бы. Но это я так рассуждаю с позиции мужчины, у которого на кухне стоит не пустой холодильник и жена которого просыпается утром без тяжелых мыслей – чем же я сегодня детей кормить буду?

Мне не было и семи лет, и не мог я так рассуждать, я просто жил очарованный весенним солнцем, батиной тульской двустволкой и где-то подсознательно ощущал собственную причастность к извечной мужской заботе о хлебе.

Я стоял около стола, на котором лежали убитые грачи. Были они сизые, с черными натруженными клювами и серыми узловатыми лапами, испачканными весенним сырým черноземом. И не было мне их жалко. Я еще совсем не знал жизни, чтобы пугаться чужой смерти. Я открывал им веки, глаза у них были черные, бездонные, заглядывал в мертвые зрачки и видел в них свое отражение – изогнутое, как в начищенном самоваре.

P.S. Много позднее этого рассказа я написал стихотворение, связанное с этими грачами. Я хочу показать его здесь же, в послесловии. Мне кажется это уместно.

«Я не был босяком, но бегал босиком...»

Я не был босяком, но бегал босиком...
Апрельская земля. Проталины черны.
Уже грачи в поля из южной стороны
Наволокли тепла. Забот невпроворот!

Вот сели край села. Вот сели в огород.
Вот батя взял ружье. Вот целится, вот бьет.

И все нутро мое ликует и поет!
И я бегом, босой – под звон апрельских труб —
Тащу грачей домой...

И мама варит суп.

Лёнька

Ленька лежал на сене и ртом ловил муху. Нос у Леньки короткий и плоский, губы толстые. Он только что пришел с пасеки и теперь лежал за домом на сене и тихо мечтал. Ленька всегда любил мечтать: он и в школе мечтал, и в армии, а теперь и дома. Мечтал он, мечтал, о чем попало мечтал, вот уже вроде и мечта в струнку выстроилась, красивой стала, и тут, на тебе, муха! И откуда вывернулась? Губы у Леньки медом пахнут, муха сядет на бороду, крыльшками пострижет, хоботок лапками почешет и – к губе. Забыл Ленька о чем мечтал, охотиться начал. Лежит, глаза прикрытые, а нервы начеку – муха по губе ползет, по самому краешку, но Ленька знает: пока она ползет – ловить ее бесполезно, внимательная. А вот когда остановится и хоботком щупать станет, то все ее внимание в мед уходит. Гам! – Ленька шлепнул губами, муха улетела. Проходит минута-другая, и муха садится снова на бороду... На шестой или седьмой попытке Ленька хитрость придумал: губы отворил, дырочку маленькую сделал. Вот если бы муха в Ленькин рот заглянула, тут бы ей и хана была, но муха в дырочку не заглядывала. Из дырочки медом не пахло, медом пахло на улице, на губе, по губе она и топталась. И все-таки Ленька муху гамкнул, резко так – гам! – и мухи не стало.

– Тьфу, зараза, – он даже сел от удивления. Только сел, только сплюнул, только глаза распахнул, про муху враз забыл. В конце огорода стояла корова и спокойно жевала молодые подсолнухи.

– Во дает, а? – Ленька присвистнул. Корова была черная с белыми плешинами, подсолнухи были зелеными, и ела она их очень аккуратно: не колготилась, не топталась, ровно стояла и только головой поворачивала: налево повернет – шляпки нету, направо – еще шляпки нету, а позади нее уже прокос образовался.

– От жисть, полежать не дадут, – Ленька встал и запустил в корову камнем. Екнул коровий бок, и животина, сминая подсолнухи, галопом перемахнула канаву и направилась в луг. Надо бы огород загородить, подумал Ленька и почесал затылок. Об этой изгороди он думал всегда, когда в огород залезала скотина, и всегда при этом чесал затылок. Почешет затылок, почешет, и рукой махнет. Махнул он рукой и на этот раз.

Лежать больше не хотелось, и Ленька направился в дом. На крыльце Ленькиного дома сидел Венька, соседский карапуз. Было Веньке четыре года, бегал он в одной рубашке, сверкал всякими деталями и был постоянно грязный и сопливый.

– Дядя Ленька, исделай мне рогатку, – он держал в руках красный резиновый шланг.

– О, смотри какая резина хорошая, – Ленька взял шланг и растянул его. Венька смотрел как хорошо растягивается шланг и вопросительно ждал.

– Рогатку, говоришь? Рогатку можно, а почему – нет? Только давай вот чего сделаем: давай сначала в шланг подуемся, кто кого передует...

У Веньки заблестели глаза. Это же очень интересно – подуться в шланг. Щеки у Веньки толстые, Венька об этом знает, а вдруг да и передует он дядю Леньку.

Ленька сел на крыльцо рядом с Венькой, вытер концы шланга о штаны и подал один из них Веньке. Венька с готовностью засунул конец шланга себе в рот и дуть приготовился. Ленька тоже конец шланга себе в рот засунул.

– Ну, дуй! – скомандовал он, а сам свой конец прикусил зубами и ждет.

Напыжился Венька и изо всех сил дуть начал. Дует карапуз в шланг, даже уши покраснели, а обмана не чуёт. Дул, дул, а дяде Лене хоть бы хны, как сидел спокойный, так и сидит, но тоже, вроде, старается. Устал Венька, дух перевел. Только снова дуть решил, только воздуху полный живот набрал, а дядя Ленька его опередил, взял да и дунул в Веньку. Венькин организм этого не ожидал. Полезли пузыри из венькиного носа, а Ленька захохотал и на крыльцо повалился от собственного веселья. Венька – в рев, да к себе домой.

– Эй, стрелок, резину забери, – покатываясь со смеху, кричал вдогонку Ленька...

А было Леньке двадцать шесть лет, и не был он дурачком, а работал в селе пожарным. На шестидесяти рублях.

Вовка, Генка, дед Тиша и распроклятая буква «р»

Вовка и Генка – близнецы. Рыжие, вихрастые, толстошекие и друг на друга, как пуговицы на пальто, похожие. Им по три годика.

Дед Тиша – это дед. Рыжий, вихрастый и с бородой. Вовка с Генкой ему внуками доводятся.

Буква «р» – это буква из алфавита, и если ее хорошо произнести, то звук получится рокочущий – «рр-рр-рр» – словно кто на телеге едет или гром далекий грохочет.

Родители близняшек с утра на работе, а по вечерам через день техникум одолевают, что в районе в десяти километрах от села, вот дед Тиша во дворе с внуками и возится. Он недавно на пенсии, в теле еще крепок, внуки – его гордость. Сидеть с ними в радость, пацаны спокойные, не плаксивые и, что самое главное, самостоятельные попались. По-первости он их путал. Думал сначала, что на них метки какие родовые есть, или чего еще, ан нет – ни меток, ни чего другого. Рыжие – одинаково, глазищи – синие, косолапые – оба, плачут – со всхлипами, на солнце и то глядят одинаково, щурятся, как обученные. Помогла сноха. Очень просто помогла – на Генку стала одевать голубую одежду в смысле синюю, а на Вовку любую другую. Дед Тиша этой премудрости обучился легко: синий, в смысле голубой, на букву «г», то есть – это Генка, не синий – Вовка. Если на Вовку что-нибудь голубое оденут, то на Генку этого синего-пресинего одевают больше.

Деду внуки нравятся. Хорошие внуки. Один недостаток у пацанов: букву «р» не выговаривают. И Вовка не выговаривает, и Генка не выговаривает. Беда-то невелика, с годами выправиться должны, но деда сомненье гложет, а вдруг да картавыми будут. Мало – рыжие, да ещё и картавые. Нехорошо.

День движется к обеду, внуки стоят посреди двора и мирно переговариваются друг с другом:

– А длугой куда-то уполз, – говорит Генка.

– Навелно, улетел, – догадывается Вовка и заглядывает в самую глубину спичечного коробка, где, лежа на спине, большой коричневый жук вяло шевелит блестящими шарнирными лапами.

Дед Тиша краем уха прислушивается к безобидной внуковой болтовне и крутит козью ножку. На коленях у него лежит сплетенный почти до конца пастуший бич. Техника в колхозе далеко шагнула, а пастухам для работы все одно бичи нужны. И не простые бичи – ременные полосы, а чтоб плетеные, колен в несколько, с кольцами, с бахромой и с хлыстом протяжным да убоистым. Дед Тиша в детстве хорошую пастушью школу прошел. Много с годами запомнилось, а вот любовь к сыромятной коже, к бичам пастушьим осталась, и теперь, нет-нет, да и берется он за это дело, добро людям делает.

Дед Тиша крутит козью ножку и улыбается. Сам себе, значит, улыбается, мыслям своим хорошим...

Потом он заканчивает бич, пробует его в руке. Бич мягкий, белый. Дед прицеливается в лебеду, что растет около забора, и коротким взмахом срезает ее.

– Здравствуй, дед! – Над забором вырастает лохматая голова Николая Зарубина.

– Здоров, коль не шутишь.

– Карапузам привет! Как жизнь?

Вовка с Генкой в четыре руки держат коробок с жуком. Они стоят около сарая, повернув головы в сторону Зарубина, и молчат.

– Как жизнь, спрашиваю! Нормально?

– Нолмально, – отвечают внуки и уносят коробок с жуком за сарай. Зарубин их не интересуется.

– Ну и внуки у тебя, дед.

– А что тебе мои внуки? – Дед Тиша Зарубина не уважает. Ехиден тот слишком и до водки слаб.

– Внуки как внуки!

– Да нет, дед, не скажи. Твои внуки, кровные, без чужой примеси, сразу видно.

Дед Тиша понимает, что Зарубин во хмелю и что сейчас он про масть дедову рыжую слово вернет. Масть эта рыжая порой деду как об стенку горох, а порой, как перец в кровь, и дед сам никогда не знает, как на подначку отзовется. Николай действительно рыжую масть затрагивает, но дед на это не обижается, а, наоборот, поддерживает Николая. Так они и стоят, мусолят рыжий окрас, как, скажем, масть конскую, и уже совсем подходят к выводу, что порода дедова крепкая, казачья, не одну чужую кровь поборола и в заданном направлении, по внукам то есть, далеко должна уйти. И все-таки Николай по врожденной своей ехидности вворачивает деду шпильку.

– А ведь в селе-то, дед, ты не один рыжий будешь, так что... гы, гы... может быть, ты тут и не при чем, а? Вон Кузьма тоже красный, как петух, красней даже и как раз в твоих годах будет...

Горох об стенку кончается, вспыхивает перец.

Зарубин крикает, приседает и в сторону дергается, да так резко, что дед Тиша второй раз огреть его бичом не успевает.

– Я тебе, сопляк, покажу Кузьму! – Гремит он на весь двор. – У-у, ехидина! Подь сюда, подь, я тебе еще примочку сотворю!

Николай, не ожидавший от деда такого аллюра, стоит на другой стороне улицы, переминаясь спиной и косит глазами по сторонам – не видят ли соседи, позору-то будет!

– Ладно, дед, ладно. Твои внуки, твои...

– А нешто твои... Молокосос!

– Твои, дед, твои. Но только картавые. – Он шмыгнул носом и передразнил. – Нормально! Ворона и та эту букву выговаривает, а они... Тлидцать тли богатыля. Тьфу, стыдуха! – И с этими погаными словами Зарубин разворачивается к деду спиной, сует руки в карманы и, отсвечивая полосой, протянувшейся по спине от плеча к пояснице, не спеша идет вдоль улицы...

Давно уже Зарубина не видно, а дед Тиша всё стоит посреди двора и слова его вредные осмысливает. Ворона, вишь ты, и та... А? Тлидцать тли богатыля... Да еще «тьфу» под конец сказал. Поганец... Дед Тиша понимает, что Николай всё это в горячке сболтнул, из-за бича, но ведь он и сам об этом уже не раз подумывал. Вовка-то с Генкой уже и впрямь большенькие, по четвертому годiku пошло, а картавят. Ворона, вон... А и вправду Колька трепанул, ворона эту самую «р» очень даже ладно выговаривает, словно рокошет – ка-р-рр!

Вовка с Генкой выводят деда из раздумий, когда солнце уже явно переваливает за обед. Внуков пора кормить и спать укладывать.

– А ну, ребятки, кто из вас видел птицу ворону?

– Я видел, – говорит Вовка.

– И я видел, – говорит Генка.

– Вот и хорошо. А теперь давайте поиграем в ворону. Будете?

– Будем, будем, – чуть не хором запели Вовка и Генка.

Играть – не спать, тем более что внуки деда любят и знают, что играть с ним всегда интересно.

– Залезайте-ка на завалинку, вот сюда, – и дед подсаживает внуков на завалинку, где и выстраивает их в шеренгу. Вовке с Генкой нравится стоять в шеренге, они выпячивают животы и преданно глядят на деда.

– Вот... Хорошо... А теперь прыгайте вниз, рр-аз!

Вовка прыгает, Генка мнется.

– Что, страшно? А ты не робей, не робей. – Дед старается быть очень серьезным, дело не шуточное. – Ты руками себя по бокам, будто ворона крыльями, похлопай, и прыгай.

– Плыгай, плыгай, – подзадоривает Вовка.

Генка хлопает себя руками-крыльями по животу... и прыгает!

– Ну, герои, ну, молодцы. А теперь вот чего сделаем, – и дед Тиша поочередно отправляет любимых внуков на крышу сарая. Сарай низкий.

– Что, страшно? Вот и хорошо!

Внуки, испуганно вращая головами, на четвереньках уползают к середине крыши. Там безопасней. Дед садится на завалинку, посматривает на пацанов и закуривает. Пока он курит, Вовка с Генкой осматриваются, встают во весь рост, но стоят молчаливо. Ждут дедовой команды. Ждут безропотно.

Проходит минута-другая и дед произносит:

– Ты, Вовка, посмелей будешь. Становись-ка сюда на край. Вот-вот... Ага... А теперь хлопай себя крыльями, значит, и кричи, как ворона, – ка-рр! Как только крикнешь, я тебя вниз спущу, как будто ты прилетел, а после – Генку.

Вовка с Генкой попеременно «калкают» на крыше сарая, но распроклятая буква не удается. А буква не удается – полета нету. Внуки уже и гундосить пытаются, но дед неумолим. Никаких «калл», только «ка-рр»! А как только «ка-рр!» получится, так сразу же и лети!

Первым каркает Генка. Дед Тиша чуть не падает.

– А ну еще!

Генка каркает еще раз, хлопает себя крыльями по животу, и совершает удивительный полет: с крыши сарая к дому, к забору и опять к сараю. Вовка остается на крыше один, но скоро и он, с подсказки Генки, выговаривает «ка-рр» и совершает такой же полет: с крыши сарая к дому, к забору и опять к сараю.

В тот день ни Генка, ни Вовка спать не ложились. Они здорово наигрались в «ворону», здорово наелись и теперь пылили за сарай, где в зарослях густых калачиков у них был спрятан коробок с жуком. Дед Тиша счастлив. Нормальные внуки... Он курит козью ножку, мысленно показывает Николаю Зарубину кукиш и слушает как Вовка говорит:

– Класивый жук...

– Класивый, – соглашается Генка и обеими руками поддегивает синие трусы.

Старик и сеттер

Сеттер – это кличка и порода одновременно. Уж так получилось. Жил Сеттер в старой саманной хате, что ютилась на самом краю деревни. Вместе с Сеттером жил и Старик. Старик был одинокий и Сеттер был одинокий. Бабку свою Старик схоронил давно, так давно, что, если на пальцах считать, сколько лет минуло, то пальцев на руках, пожалуй, не хватит. Сеттер никого не хоронил, а был одиноким потому, что не было во всей деревне ни одной собаки такой породы. Дворняги были, а вот сеттеров не было. Выйдет Сеттер, бывало, на улицу, по всей деревне пройдет – снуют дворняги по дворам да по свалкам, тьякают друг на друга; много дворняг, а поговорить не с кем... И было это не от того, что Сеттер гордый был, нет. Разговор когда получается? Разговор тогда получается, когда понимают друг друга. Дворняги Сеттера не понимали.

Вот и вчера. Ведь с открытой душой подошел он к соседской Жульке. Плохого не таил. Подошел, правда, по-сеттерски – хвост на отлете, голова поднята. Ну, так иначе он и не мог. Сеттер все-таки, понимать же должна. Подошел и спросил:

– Что ты в этой помойке хорошего нашла? Грустно же, наверно, вот так целыми днями гнилье всякое нюхать. Пойдем лучше со мной к озеру.

– Куда, куда? К озеру! – И захохотала. Вот дура. Некрасиво смеялась, нехорошо. Лапы кривые расшеперила, глазами желтыми вращает и пальцем в Сеттера тычет. – К озеру... Индюк красномордый! – Так прямо и сказала «индюк» и снова захохотала.

– Сама ты... – Сеттер хотел сказать что-нибудь едкое, но не сказал. Что зря брехать. Сеттер есть Сеттер – каждое слово на вес золота.

Старик знал о такой его одинокости и обходился с Сеттером всегда уважительно, с лаской. О дружбе этой я и хочу рассказать.

Достался Сеттер Старику, можно сказать, неожиданно-негаданно. Лет шесть, а может, семь назад – Старик счет годам не вел – в один из дождливых октябрьских вечеров кто-то осторожно постучал к Старику в кухонное окно. Ткнулся хозяин к стеклу, видит – человек в темени обозначен, по обличью, вроде, чужой. Стоит и рукой в сторону двери показывает, пусти, мол. Старик людям верил и дверь открыл сразу.

«Чужой» оказался и вправду чужим. Молодой, лет двадцати пяти. Обут был в бродни, одет в куртку брезентовую, за спиной рюкзачок тощий, а на плече чехол с ружьем. Из-под куртки патронташ выпячивался.

Охотник, видать, приبلудный, подумал Старик, но расспрашивать гостя ни о чем не стал. Дровишек в печь подбросил, пламя оживил и чайник на середину плиты подвинул. Гость поздний, стало быть, на всю ночь, а коли так, то его и покормить нужно. Картошка в духовке еще горячая, а вот чай приостыл.

За столом разговорились. Гость водку и консервы из рюкзака достал. Водки – маленькая, консервы – рыбные. Назвался Владимиром.

Оказалось, что сам он из города, до Карасевки добирался автобусом, а с остановки до деревни все шесть километров шел пешком. Приехал поохотиться, слышан об этих местах, но раньше никогда здесь не бывал и, вообще, в этих краях никого не знает. Всю деревню насквозь прошел, всё думал кого увидеть, но, видно, уже поздно, улица пуста, к тому же накрапывало, и, когда деревня кончилась, он и постучал в крайнюю хату. К Старику, значит.

Старик гостя слушал молча и вот о чем соображал: а не сходить ли и самому с гостем на охоту. И не куда-нибудь сходить, а на Ключи. С прошлого года там не был, как под самую зиму отохотился, так больше и не был ни разу. Утка уже северная должна пойти, острохвостая. Никто там дичь от весны не пугал. Охотников на всю деревню – он да Пахом. Пахом, конечно же, на Ключах не был. Молод, но ленив, все поблизости промышляет.

Уставший с дороги, разморенный теплом и стопочкой водки, гость уснул быстро.

Старик уснул не скоро, долго лежал и всё думал. Заснул он только тогда, когда окончательно решил, что гостя он на охоту сводит. И гостя сводит, и сам разок-другой пальнет. Старик даже спланировал, в каком месте он гостя на перелете поставит, а где станет сам. Гостю он место отдал самое хорошее, самый мысок отдал: там и берег потверже будет, и камышком прикрыто, и утка как раз на снижение идет.

Спал гость долго. Проснулся, заволновался. Старик его успокоил.

– Не горься. Вот поедим, соберемся и пойдем не спеша. В полдень выйдем – к заре будем. Справлю я тебе охоту... – Владимир чем-то глянулся Старика. Вроде чужой, ехал бы, катился, как говорится, ан нет, поманил Старика к себе.

Старик гостю охоту справил.

На перелет стали засветло. Старик в углу, а Владимир на мыске, как и планировалось. Утка, действительно, шла уже северная, острохвостая. Не успел Старик обтоптаться в своем углу, а Владимир уже отдулетил.

Утки было много. Моталась она небольшими табунками, к холодам готовилась, жир набирала. Старик долго не стрелял, на птицу смотрел. Он знал, что стрельнуть нужно один раз. Двух-трех он на дуплет возьмет, а больше ему по такой теплой погоде и не нужно, худовата еще, не выходилась. Уже смеркаться стало, когда он вскинул к плечу свою двустволку. Выпали из табунка три утки на сухое, Старик их подобрал, а ружье перезаряжать не стал.

Владимир душу отвел. Стрелял много, но, как потом выяснилось, толку от этой пальбы было мало.

Домой вернулись ночью.

Утром Владимир ушел. Довольный ушел. Семь уток в город повез, пять, что сам убил, а двух Старик подарил. Владимир обещал быть еще.

Обещал, но не приехал. Не приехал, не приехал – так и не приехал.

Может, времени не было, может, чего другое, но, как потом оказалось, о Старике он помнил.

Через зиму, в самом конце мая, председатель колхоза к Старика на газике подрулил. В хату вошел, портфель пузатый расстегнул и щенка из него вынул. Щенок на пол встал и лужу сотворил тут же, то ли в дороге приморился, то ли пол понравился. Сам красный, нос черный, а уши, что лопухи, до полу свисают. Смотрел на это Старик и ничего не понимал. А председатель еще и книжку из портфеля достал.

– Это, дед, тебе подарок от какого-то Володи. А в книжке все про этого цуцика написано. Охотничья, что ли. Сеттером кличут. – И ушел.

Слово такое – сеттер – Старик и раньше слыхивал, и то, что это породу собачью означает, тоже знал. Но, если собаке кличка дана, то переименовывать это Старик не стал. Сеттер так Сеттер. Даже красиво.

Так и поселился Сеттер в стариковой хате.

Словно в туман канула городская квартира, здесь все было проще – лавка да стол, печь да кровать. А еще около самой двери сундук стоял. Был он большой, в зеленое крашенный и металлом блестящим окованный. Приглянулся он Сеттеру сразу и вот чем – Старик из этого сундука одеяло красное достал и около печки расстелил. Место, стало быть, для Сеттера приготовил. А когда одеяло расстелил, то и сам около него на колени пристроился и Сеттера к себе поманил. И сундук хороший, и одеяло красивое, и Старик, наверно, тоже хороший. Сеттер на стариковский манок откликнулся сразу, задаваться не стал и просто так, без всяких ужимок, к Старика подошел. А когда Старик его на руки взял и к себе прижал, то Сеттер запах новый учуял, и запах этот ему очень понравился. От Старика волей пахло, воздухом свежим, росами. Запахи эти Сеттер чуял первый раз, но он же был – сеттер! Откликнулась кровь его на эти запахи, пронзила сладкая боль всё его крохотное тело и вон ушла. Ушла, да не вся! Остался

осколочек боли этой где-то под сердцем. Крохотный такой, незаметный, почти неощутимый. И остался он там на всю сеттерову жизнь.

Старик держал Сеттера на руках, ощущал его тепло и еще не понимал, как щедро отблагодарил его Владимир. Не мог он и предположить какая дружба у него получится с этой собакой, сколько радости доставит ему Сеттер на старости лет.

Дальнейшая жизнь Сеттера началась с того, что он хорошо поел и крепко уснул на красном одеяле, прижавшись спинкой к теплым побеленным кирпичам уже остывающей печки. Сам красный, одеяло красное, печка теплая – хорошо-то как, Господи! Проснулся он перед заходом солнца. Старика в хате не было, а двери оказались плотно закрыты. Он поскулил минуты две у порога, а когда устал скулить, то пошел в угол и сделал свои дела. Он понимал, что не хорошо делает, но терпеть больше не мог.

Когда Старик вернулся в хату, то Сеттер уже ознакомился со всем домашним имуществом. Сундук он уже знал, там раньше лежало красное одеяло, стол был похож на тот, что остался в городской квартире, больше всего его заинтересовала кровать. И не то, чтобы сама кровать, а блестящие шары, что торчали на ней по углам. Он даже пробовал на них лаять, но лай не получился, и он это дело оставил.

– Сеттер! – Позвал Старик, и Сеттер, покачивая своей вислоухой головой, подошел к Старику.

– Ишь ты, понимает. Стало быть, и впрямь Сеттер.

В тот вечер Старик сколотил из досок небольшое корыто и насыпал в него песку. Установил он это корыто в тот самый дальний угол, где уже побывал Сеттер со всеми своими делами. Сеттер все это внимательно обнюхал и понял, что это сделано для него. Так была решена проблема плотно закрытых дверей.

Каждое утро Старик куда-то уходил, и Сеттер оставался в хате один. Он на это не обижался, он понимал, что так нужно, и вел себя спокойно.

По вечерам они играли. Игры Старик придумывал простые, но каждая из них была со своим смыслом. Сеттер никогда бы не догадался, что Старик эти игры вычитывал из той самой книжки, что это были простые элементы дрессировок.

Так к концу лета Сеттер хорошо усвоил слова – «ползи», «тубо», «пиль». Вообще-то он уже много слов знал, но все они обозначали, что он – Сеттер – и умница, и молодец, и хороший. А эти слова были особые. Каждое из них призывало к действию. К слову «ползи» Сеттер относился равнодушно. Эка невидаль – проползти, но он любил Старика, и когда тот говорил «ползи», то Сеттер полз.

Слово «тубо» он не любил. Нехорошее было это слово. Оно означало запрет. Нальет Старик супу в миску, скажет слово «тубо» и хоть будь суп того вкусней, как бы Сеттеру есть ни хотелось, он знал, что на суп наложен запрет, что суп есть нельзя.

Самым веселым было слово «пиль!». «Пиль!» – и суп можно есть. «Пиль!» – и можно хватать мячик зубами. «Пиль!» – и со стола можно взять конфету. «Пиль!» – это не просто можно, это даже нужно.

Все чаще и чаще разрешал ему Старик выходить из хаты, в магазин с собой брал, а магазин – это далеко, это на другом конце деревни. Правда, в магазин Старик его не пускал, ну и пусть. Зато Сеттер знал теперь всю деревню, и если что – легко мог найти свою хату.

А когда с деревьев стали осыпаться листья, а на лугу порыжела трава, Старик впервые повел Сеттера к озеру. Озеро это находилось рядом с деревней, но Сеттер ни разу на нем не был. Шуршит под легким осенним ветром побуревший камыш, тянет из камыша прохладой, а воды не видно. Чует Сеттер, что рядом она, и так ему в воду хочется! А камыш густой – носа не воткнуть, и шуршит уж очень тревожно. Мечется Сеттер по берегу, мнет низкорослую осоку, на лапы передние припадает и так на Старика смотрит: ну, что, мол, ты меня мучаешь? А Старик на Сеттера глядит и улыбается:

– Молодец, ах, какой молодец! Может, и будет из тебя тот самый толк, но погоди. Зеленый ты еще, хоть и красный.

В первый раз Старик воду ему не показал – пусть потомится, потом слаще будет.

Дня через два солнышко угадалось, и опять Старик повел его к озеру. Только на этот раз подошли они к озеру с другой стороны. Берег здесь был чистый, камышом не поросший. Увидел Сеттер воду и замер. Так вот ты какая большая! Только так подумал, тут же под сердцем осколочек шевельнулся. Тот самый... Молчал Старик, глядя на озеро. Старику прошлое мерещилось. Ох и длинна ты, жизнь человеческая!.. Озеро это Старик помнил, как еще маленьким был. Выпала из памяти жизнь, осталось только начало да миг вот этот. Озеро, почитай, раза в два уменьлось. Да где там в два!.. Как же раньше не замечал? Вон плес какой крохотный остался, да и тот уже в коих местах резуном проткнутый. Лет еще пять, ну, десять, и совсем похерится озеро, умрет. Останется от воды бочажина гнилая. Озеро уже умирает, а Старик все живет. Вот как долго живет!

Сеттер тоже молчал. Он прижался к ногам Старика и мелко вздрагивал. В черных глазах его притаилась тревога, а когда посреди озера рыбина сыграла, Сеттер совсем растерялся.

– Ну, чего ты, дурачок, трусишься? – Старик ласково погладил его по голове. – Это просто вода, и ничего в ней страшного нет, смотри, – и, отвернув бродни, Старик медленно пошел в воду.

Заметался Сеттер по берегу, заскулил, и, когда вода дошла Старику до верха сапог, он не выдержал, разбежался и как-то боком, неуклюже прыгнул за Стариком. Страшного в впрямь ничего не было. Было жутко и радостно.

Потом уже Сеттер ходил в воду без Старика.

В тот вечер Старик придумал новую игру. Называлась она – «принеси поноску». «Поноска» – это старая рукавица, меховая внутри и снаружи обшитая брезентом. Когда уже стемнело за окном, Старик сел рядом с одеялом, позвал Сеттера и осторожно провел рукавицей по его носу. Сеттеру это не понравилось, и он отвернулся. Старик снова провел рукавицей по его носу. Сеттер снова отвернулся. На четвертый раз Сеттер схватил рукавицу зубами.

– Умница, Сеттер, умница, – приговаривал Старик, а сам гладил его по голове и осторожно отнимал рукавицу.

Потом Сеттер хватал рукавицу зубами сразу, как только Старик подносил ее к его носу. И каждый раз Старик хвалил его и гладил по голове. И вдруг Старик скомандовал:

– Принеси! – и бросил рукавицу к порогу. Сеттер еще и сообразить не успел ничего, как тут же услышал – «пиль!» Ого! И он с подстилки прыжком кинулся за рукавицей.

На другой день Старик заменил рукавицу утиным крылом.

А скоро выпал снег.

Игра в «поноску» с каждым днем становилась все сложнее. Теперь Старик крыло не бросал, а прятал его от Сеттера где-нибудь за сундуком, или под кроватью, и к известному теперь слову «принеси» добавилось еще одно «ищи!..». Сеттер крыло находил, оно хорошо пахло, и приносил его Старику. Иногда Старик давал ему за это конфету, мягкую такую подушечку. Так не назойливо, постепенно Сеттер превращался в хорошую охотничью собаку.

Зима ему не понравилась. Сеттеры вообще плохо переносят холода, а сибирские зимы, не в пример другим, люты и очень буранны. На улицу Сеттер ходил редко, выйдет, покрутится на сугробе и назад скорей, к печке теплой, к Старику.

По вечерам Старик вязал сети. Он и днем их вязал, но вечера Сеттеру полюбились больше всего. Когда мечутся за окнами большие снега, когда от печки струится тепло, когда старенькая десятилинейная лампа мерцает красным своим керосиновым пламенем, а в трубе подвывает, было любо Сеттеру лежать на зеленом сундуке и смотреть как Старик, приладив на нос очки, вяжет и вяжет квадратики из тонкой фильдекосовой нитки. Старик вяжет сеть, вяжет, а потом отложит челнок и к Сеттеру повернется:

- Ну, как тебе, голубчик, со мной не скучно ли?
- Нет, – скажет Сеттер, – совсем не скучно. Хорошо мне с тобой.
- Ну, коли тебе хорошо, то и мне хорошо.

К весне Сеттер заматерел. В полный рост вошел и силу набрал.

Когда по первым проталинам Старик взял его с собой в магазин, то Пахом, увидев Сеттера, аж руками всплеснул:

– Вот это кобелина!

– Тьфу тебе в глаза! Ты, Пахом, что дурак! Чо ахаешь-то, собак не видел? – Старик суеверным не был, но в глаз дурной верил.

– Да я ж не по злобе, – смутился Пахом.

– Не по злобе, – передразнил Старик. – Сковырнется псина, потом, поди, разберись, – и в тот же вечер сводил Сеттера к бабке Ленчихе, чтобы та собаку от глаза дурного оборонила. Ленчиха в умение свое противосатанинское крепко верила и под первую весеннюю рыбку, что посулил Старик, собаку от лихого глаза водой сбрызнула.

После Пасхи Сеттер получил боевое крещение. Старик приводил в порядок плетень, когда на самую верхушку тополя с гомоном уселись две вороны. Всякую птицу Старик уважал, а вот ворону с детства не любил. Нелюбовь к этой птице ему еще отец привил.

– Скверная птица, не от бога. Ворону убьешь – все одно, что семь грехов отмолишь.

В том, что ворона птица пакостная, Старик убеждался не раз, и если подходил случай, то заряда для нее не жалел. Тихо, несуетно – ворона хитра, спешку людскую не любит – Старик вошел в хату, снял со стены ружье и вложил в патронник патрон. Сеттер гулял по двору, когда из сеней его негромко позвали. Старик волновался: как-то собака на выстреле себя поведет, не испугается ли? А Сеттер словно почуял что, к ноге стариковой прижался и напружинился весь. Вороны беды не ждали, сидели на тополе широко и перекаркивались. Выстрела Сеттер не испугался, он только присел глубже, и, услышав короткое – «пиль!», понял, что от него требуется. Крылья вороны очень напоминали то крыло, котрое всю зиму от него прятал Старик. Когда Сеттер принес ворону и положил ее к ногам Старика, то Старик понял, что он плачет, и еще Старик понял, что без Сеттера ему теперь никак нельзя.

Работу свою Сеттер полюбил крепко. Старик за ружье – Сеттер на порог. Старик в лодку – и Сеттер в лодку. Челноком ходил, ни на шаг в сторону. Дивился Старик собачьей такой привязанности и платил за это Сеттеру лаской.

Всё лето прожили они на озерах, рыбу промышляли, а осень надвинулась и остыли ночи – перебрались в хату свою саманную. Рыба еще не кончилась, а охота уже началась. Теперь всё чаще и чаще брал Старик свою двустволку и уходил с Сеттером на местные озера. Ключи далековато были и ходить туда за двумя-тремя утками не резон. Ключи – это когда морозы приступят. Озерные россыпи эти безрыбные были, кроме гальяна – ничего, но зато дичью богаты. Расположены выгоднее других озер, гривами укрытые, мелководные, ряской да камышом обильные, – а что еще для выводков надо? – и постоянно билась там утка, летом и в сентябре своя, местная, а глубже к зиме шла на Ключи северная.

Если сказать, что Старик только тем и занят был, что уток стрелял, то это неправдой будет. Прикинет, что ему нынче три утки нужны, трех и стрельнет. Куда их больше-то, портится дичь в теплую погоду, а присоленную он не уважал. Много дичи он стрелял перед самым ледоставом. Мудр от жизни долгой был, в приметы верил, птицу хорошо знал, а потому морозы крепкие нутром своим дня за два чуял. Как только пойдет утка над озерами ходом, значит, скоро и морозам быть, значит, утку нужно стрелять, много стрелять, чтобы на всю зиму хватило. Готовил он их впрок очень просто – щипал, не палил, потрошил и выносил на холод. Два-три дня дичь, тем более жирная, на холоду пролежит, а там и морозы придут. А морозы придут, окатит Старик тушки утиные водой колодезной, наслоит на них ледку немного и к жердям подвесит. Такая дичь до самой весны хорошо хранится, не ржавеет.

До Сеттера Старик утку стрелял выборочно, с расчетом, чтобы на сухое падали, да чтоб подранков не было. Теперь у Старика был хороший помощник, и в ту осень отстрелялся он на Ключах за две зари.

Вот так они и стали жить: от весны до осени на воле, от осени до весны в хате своей саманной.

В ту осень Сеттеру шел не то шестой, не то седьмой год. Сентябрь отстоял теплый, золотой. В начале октября дожди пошли. Недели полторы лили, не переставая, а потом прекратились. Небо вычистилось, по утрам заморозки крепкие начались. Старик, как и прежде, ходил с Сеттером на ближние озера и готовился к последнему перелету. Давно уже пролетели журавли, отгоготало небо гусиными косяками. Местная утка сбилась в табуны и тоже, своими тропами, прошелестела к югу. Безветрие сменилось северным ветром, и однажды утром, как и в прошлые года, Старик сказал:

– Всё, Сеттер, пора на Ключи собираться.

На вечерней заре Сеттер только три раза ходил в воду, остальную птицу Старик выбил на сухое. Ночь у костра перебедевали, а утром за каких-то полчаса была потрачена половина оставшихся зарядов. Табуны острохвостых вперемешку с гоголями шли один за другим. На предельной скорости, продуваемые северным ветром, они по каким-то своим тайным законам теряли высоту перед самыми Ключами, на мгновение прижимались к воде с тем, чтобы потом снова набрать высоту и лететь дальше. Стрелял их Старик на выходе из Ключей. Сеттер был в том азарте, когда ему не нужно было подавать команду, он только смотрел в небо, дробил ногами и слушал выстрелы.

Скоро Старик отложил ружье...

Домой шли медленно. Старик уже давно приметил, что с каждым годом тяжелей и тяжелей становится ноша. Вроде и стрелял немного, а плечи давит. Уже вечереть стало, когда они вышли к Гнилому Займищу...

– Вот скоро и придем.

Сеттер и сам знал, что скоро покажется саманная хата. И еще он знал, что работа его закончилась и теперь всю зиму будет он коротать дни вместе со Стариком в хате.

У Займища решили передохнуть. Скинул Старик ношу свою, сломил несколько кистей тростника, приладил на кочку и присел. Сеттер рядом пристроился. Займище это Старик не любил, оно впрямь какой-то гнилью пахивало. Давно когда-то сбил он касатую¹ над этим болотом, и, хоть птица мертво упала в осоку, найти Старик ее не смог. Вымок весь, сам с собой изругался и с тем зарекся стрелять здесь. Осока в рост, воды по пояс, кочки, тростник, а на самой середине плес с ладошку... Северный ветер гнал тучи над самой землей, того и гляди снег к ночи пойдет. На таком ветру сидя, да еще из-под ноши, и простыть недолго. Только Старик об этом подумал, только встать начал, как рядом, в пяти шагах, тяжело шурша осокой и испуганно шавкая, поднялся касатый селезень-последыш. Не выдержала птица человеческого присутствия. Зашумели крылья, вскочил Сеттер, зачастил ногами, закрутил головой, то на птицу, то на Старика посмотрит, словно просит: стрельни его, стрельни, видишь, какой вылинявший, аж бусый!

А селезень-дурак, и высоты не набрав, потянул мимо Старика. Пошел Старик на поводу у Сеттера, пограть хотел собаке, да поспешил. Сухо щелкнул на ветру выстрел, обломилось у селезня правое крыло, отвисли предсмертно красные лапы, и птица, пружиня левым крылом и загребая воздух обломком правого, пошла к середине Займища, где и упала в осоку.

Уже стемнело, уже колючий ветер вырвал из туч первые снежинки, а Сеттера всё не было. Старик волновался, ходил по берегу и звал собаку охрипшим голосом. Поначалу вроде бы слышал он, что плещется Сеттер у самого плеса, а потом всё стихло. Дважды обошел Старик Зай-

¹ Касатая – кряковая утка (местное)

мище, из ружья палил, голосом звал, но Сеттер не приходил. Уже ночь давно выросла над землей, а Старик всё ждал. Зло и тревожно шуршала пожухлая осока, молчало Гнилое Займище. К середине ночи ветер стих, в разрывах туч показались звезды. К морозу, подумал Старик, и зарядил ружье последним патроном. Он всё еще верил, что Сеттер вернется, и только когда забрезжил рассвет, когда он спалил последний патрон и увидел в прогалах осоки, что вода туго затянута льдом, он понял, что Сеттер не вернется.

Не входя в хату, Старик свалил битую дичь в угол сеней и заплакал. Горько ему было входить в пустое холодное жилище.

Потом он топил печь и сидел у окна. Оно выходило на луг, как раз в ту сторону, откуда он пришел. Но чуда не произошло...

Спал Старик не раздеваясь. Да и не спал он, а маялся всю долгую ночь между сном и явью. Еще рассвет не пришел, когда он с полным патронташем и брошенным на плечо ружьем, покинул хату. Снега еще не было, но зима уже стояла.

Старик подошел к Гнилому Займищу, когда рассвело. Лед был крепкий, и Сеттера он нашел сразу. Вернее, это был не Сеттер, это было тело Сеттера. Сеттер затонул около самого плеса, у чахлого ивового куста. Затонул он не полностью, а наполовину и лежал теперь на боку, мертво впаянный в лед. Старик не плакал. Он долго сидел на корточках около и тонкими сухими пальцами перебирал заледеневшую шерсть. Потом он стрелял. В мелкую крошку рвался лед под косыми выстрелами, и в патронташе не осталось ни одного патрона, когда Старик, доламывая лед прикладом, освободил тело собаки. Только теперь он понял, почему Сеттер погиб. Сеттер удавился. Каждую зиму ставил Пахом на Займище петли на зайцев. В самом ивняке ставил. Стальную проволоку на петли пускал. В одну из таких петель, не снятых Пахомом по весне, Сеттер и угодил.

Схоронил его Старик в огороде, как раз в том месте, где бабка покойная грядки капустные творила. Холмик над могилой нарыл, а крест ставить не стал. Он просто рассудил, что человеку крест, может, и нужен, а что до Сеттера, так ему он без надобности.

Белые стрижи

В некотором царстве, в некотором государстве, на берегу красивой синей реки жил да был восьмилетний мальчик Сережа. Это был обыкновенный мальчик, как и сотни, сотни других мальчиков. Учился этот мальчик в школе, которая была далеко-далеко, в другой деревне. Учился он хорошо, и в школе его все любили.

Но, наверно, случается так в жизни, что те, кто тебя любить не обязан, любят тебя, а вот те, кто должен любить, не любят. Случилось такое и в Сережиной жизни: дома его любили не все. Мама любила, а папа не любил. Не родной был папа. Сережа этого не знал, но понимал, что папа его не любит.

Понимать он это стал давно, как только помнил себя, потому что папа никогда не покупал ему игрушек, никогда не гладил его по голове и почти никогда с ним не разговаривал. Случается, что смотрит он на Сережу, смотрит, а глаза у него такие, как будто и не видит он ничего, как будто в пустоту смотрит. И Сережа привык к этому. Настолько привык, что и не больно ему было, а если и больно, то только чуть-чуть, самую малость. А ведь если больно чуть-чуть, разве это больно, это совсем не больно. Так и жил мальчик Сережа со своей маленькой незаметной болью.

И совсем не странно было, что, когда Сережа был маленький, боль тоже была маленькой, но он подрастал, а с ним подрастала и боль. Однажды он не выдержал и спросил папу:

– Ты почему меня не любишь?

Посмотрел папа на Сережу и вместо ответа спросил сам:

– А почему я тебя любить должен?

Сережа этого не знал, и ответить на папин вопрос не мог. Так и расстался он с папой – как будто и рядом жили, а как будто и нет.

Может быть, это, а может быть, что иное, только стал замечать, Сережа, что неуютно ему дома, грустно. Но не бывает так, чтобы человеку, пусть и не взрослому, всюду было плохо, где-то ему и хорошо должно быть. Сереже хорошо было на реке.

У этой красивой синей реки и название было красивое – Алей. В других краях такой реки не найти. Течет она с гор, вода в ней голубая, берега песчаные, и если с одного бока берег пологий, то с другого – обрывистый. Но если берег и обрывистый, то он все равно песчаный. Вдоль реки над обрывами и по всему лугу тугими островками кустарник разбросан. Такие островки зовутся забоками. Каждая забока (за боком, значит) название имеет: Первая забока, Вторая, Леночкина, Панюшовский Круг и ещё, ещё – вплоть до Орлова Мыса. А уж за Орловым Мысом забоки названий не имеют, идут они там до самой Оби одна за другой всливную, тугие да непролазные, перевитые и перекрученные ежевичником и хмелем.

Напротив Сережиного дома берег на Алее с этого бока был обрывистым. Каждое утро, как только на востоке расцветал малиновый околыш и начинало вылезать из-за бугра солнце, обрыв светлел, оживал и наполнялся птичьим щебетом. По всему обрывистому пролету, изогнутому огромной подковой, ежегодно гнездились береговые ласточки, и если посмотреть на этот обрыв с другого берега, то походил он на огромное выгнутое решето, в каждой дырочке которого жили по две птицы. Это были береговушки, а местные жители звали их просто – стрижи.

Когда утром Сережа приходил к обрыву, в стрижином огромном поселении поднималась тревога, звучали короткие пронзительные крики, и, моментально, в считанные секунды, в воздухе начиналась суматоха. Воздух вскипал. Сотни птиц покидали свои норки, тревожно кричали и успокаивались лишь тогда, когда Сережа, спустившись под обрыв, садился на берегу и замирал. Проходила минута, другая, суматоха прекращалась и начиналось самое интересное. Птицы разбирались попарно и, словно привязанные невидимой нитью друг к другу, начинали

кружиться у обрыва – пара за парой, пара за парой. По касательной, почти чиркая крылами песчаный обрыв, какая-нибудь пара делала несколько заходов и потом, словно сговорившись, отлетала к середине реки, круто разворачивалась и на полной скорости, в упор, друг за другом, влетала в норку. Смотреть на это было интересно. Сереже было непонятно: как это стрижи умудряются среди сотен и сотен одинаковых норок находить именно свою и как это можно на такой скорости влететь друг за другом в маленькую-маленькую норку и не побиться. Однажды он даже спросил об этом у мамы, и мама сказала:

– Стрижи как люди. У каждого стрижа свой дом. Это тебе кажется, что все норки одинаковые, а ты присмотришься и увидишь – это совсем не так. Весь обрыв разный, а стрижи маленькие, они лучше нас видят всякие малости и по этим приметам запоминают свои норки. Вот и всё.

Сережа маму выслушал и когда внимательней присмотрелся к обрыву, то оказалось, что мама говорила правду: обрыв был весь разный, с выемками, бугорками, и норки были разные.

Стрижи были неугомонными, но иногда они уставали и тогда садились на песок около самого берега. Взлетали они трудно, крылышки у них длинные, лапки короткие, и первое мгновение всегда казалось, что птицу кто-то держит, она бьет крылами по песку, барахтается, но взлетает. Стрижи никогда не летали молча, они постоянно разговаривали. Разговор у них нежный, журчащий. Стрижи замолкали к вечеру, когда солнышко валилось к закату. В такое время по всему обрыву начиналась большая охота на мошек. Великое молчание этой охоты было зримо и слышимо, и Сережа в такие минуты чувствовал как все в нем замирало и его охватывала какая-то непонятная тревога.

Шли дни и однажды Сережа прибежал домой очень возбужденный:

– Мама, мама, а белые стрижи бывают?

Мама сказала:

– Нет, белых стрижей не бывает.

– А вот и нет, а вот и бывают!

И он упросил маму сходить с ним к обрыву. Оказалось, что белые стрижи, и правда, бывают. Их было два. Белые, словно молоком облитые. Мама развела руками:

– Странно, в самом деле белые.

Дома за ужином, когда пили чай, она сообщила папе:

– Ты знаешь, папа, а Сережа нашел белых стрижей. Двух.

– Как это – белых?

– Очень просто. Совершенно белые стрижи. Я сама видела. Летают, как две звездочки, и, кажется, спаренные. Может, порода какая другая, а?

– Да ну вас, – папа махнул рукой. – Я стрижей всю жизнь знаю, но чтобы белые – не верю.

– А ты проверь, а ты проверь! – вступил в разговор Сережа. – Они под нами живут, прямо у омута.

Папа усмехнулся и ушел на крыльцо курить.

В ту ночь Сережа долго ворочался и все думал: а вдруг это и вправду новая порода, выведут они белых стриженят и навсегда полюбят этот обрыв. Сережа знал, что стрижи выводят по шесть птенцов, и подсчитал, что года через три-четыре их будет так много, что уже можно будет не бояться – а вдруг да что случится. А пройдет еще несколько лет – и по всему обрыву расселятся только белые стрижи. Хорошо-то как! А как же черные, их ведь тоже станет больше? Конечно, обрыв большой, и черным найдется место, а в крайнем случае пусть черные селятся у Первой забоки, там вон какой обрыв пустует. Сережа расселял стрижей и так и этак, и, в общем-то, получалось все ладно, места хватало всем. Главное, чтоб прижились.

Когда Сережа проснулся, папа уже пришел с реки. Сережин папа, тот самый, который никогда не покупал Сереже игрушек, никогда не гладил Сережу по голове и почти никогда не

разговаривал с Сережей, ходил на реку смотреть белых Сережиных стрижей! Уходя на работу, он сказал:

– Видел я твоих стрижей. Интересно...

Теперь черные стрижи Сережу интересовали мало. Их было много. Белых было два, и Сережа очень за них переживал. Он долго боялся: не будут ли черные стрижи обижать белых. Но боялся он напрасно, черные стрижи белых не обижали, они приняли их в свою стаю как равных, вместе летали над обрывом, щебетали о чем-то известном лишь им одним, как будто ничего особенного в том, что стрижи были белыми и не было. Белые стрижи, в свою очередь, вели себя мирно, так же, как и черные садились на песок и так же трудно взлетали, ловили по вечерам мошек и ловко пили на лету из реки воду. Норку их Сережа знал наизусть.

Каждый вечер он рассказывал маме и папе про своих стрижей. Сережа рассказывал и не замечал того, что замечала мама. А мама замечала, что папа становился каким-то другим в отношении к Сереже. Он внимательно выслушивал эти рассказы, чему-то улыбался и даже разговаривал с Сережей. В семье поселилась радость.

Но радость была не долгой. Скоро пришло горе. Про белых стрижей узнала вся деревня. На белых стрижей приходили смотреть. Смотрели, смотрели людские глаза на это чудо, и нашелся-таки в деревне человек, который позарился на белую стрижиную жизнь. Мишке Воропаеву шел двадцать второй год и работал он трактористом. Потом он будет говорить, что хотел подарить этих стрижей своей девушке. Дурак. Какой еще девушке? Подарил бы двух кур!

Стрижей он зорил старым известным способом. Делается это просто: берется проволока с метр длиной, с одной стороны загибается крючок и все. Потом нужно сесть под обрывом, дожидаться, когда стрижи залетят в норку и быстро заткнуть норку камушком. После этого необходимо хорошо примоститься на обрыве, вынуть камушек и, прикрывая норку одной рукой, другой при помощи проволочного крючка начать вываживать птиц из гнезда. Если работать крючком осторожно, то стрижи повреждены не будут и достанутся в руки целыми и невредимыми. Если крючком в норке крутить, то стрижей можно попортить, а то и подавить. Первого белого стрижа Мишка задавил.

Сережа увидел Воропая под обрывом, когда тот пытался достать второго стрижа. Мертвый стриж белым пятном валялся около Мишкиных ног. Запыхавшийся Сережа вбежал домой вслед за пришедшим с работы папой. Папа был уже босой, он переодевался. Сережа тяжело дышал и не мог говорить, но папа понял всё.

Они бежали к обрыву вдвоем – впереди, босиком, папа и сзади Сережа. Второго стрижа Мишка вынул удачно. Он забросил крючок в Алей, и, зажав птицу в кулаке, уже почти вылез из-под обрыва, когда перед ним возник Сережин папа.

– Отдай стрижа, Михаил! Отпусти!

– Ох, герой! Отпусти! – Мишка был выпивши. – А вот этого не хотел? – и, сложив правый кулак в кукиш, поднес его к папиному лицу.

Папа был ниже Мишки на голову, и Сережа понимал, что Мишка сильнее папы и стрижа просто так не отпустит. Мишка тоже знал, что он сильнее, и, чувствуя свое превосходство, куражился.

– Босой прилетел! Птичку ему... А я вот сейчас её давану – и тю-тю твоей птичке. – Он протянул вперед левую руку со стрижом и хотел уже показать, как он его задавит. И тогда папа спокойно отвел Мишкину руку в сторону и залепил Мишке пощечину. Стриж вылетел. Потом Мишка ударил папу кулаком в губы. Папа пошатнулся, но устоял. Тогда Мишка ударил еще раз и Сережа даже не понял, как это получилось, что папа остался на обрыве, а Мишки не стало. Просто папа пригнулся и Мишка упал с обрыва вниз головой.

На следующий день папа на работу не пошел. Он надел новый костюм, взял у мамы денег и ушел на железнодорожный разъезд. Вернулся поздно вечером и привез Сереже новую бам-

буковую удочку и целую сетку детских книжек. Книжки были с картинками про птиц и животных. А Сереже сказал:

– Я узнал в городе, эти стрижи – альбиносы. Ты не переживай. Такое бывает и у птиц, и у зверей. Ничего, ничего – и вдруг все белые.

Задавленного стрижа Сережа похоронил. Оставшийся в живых белый стриж исчез. До самой осени ходил Сережа к обрыву, но белого стрижа не было. А Мишка до снега в гипсе ходил; когда с обрыва падал, руку сломал. Сломал как-то не хорошо. Ему ее два раза складывали, а потом два раза ломали.

История одного рассказа

Судьба свела нас на халтуре, вернее, на заработках. Халтура – это когда как попало, мы же приехали за полторы тысячи верст работать, и слово это к нам никак не подходило. Это была работа.

Нас шестеро, мы из Ленинграда, нам нужны деньги, а деньги платят за работу, и мы работали. Предварительно списались с председателем колхоза и теперь строили коровник. Жуткое это дело, особенно фундамент.

После первого дня я отказался от ужина и заснул не разуваясь. Инженерше. Пришел в себя только к концу первой недели, и то, если по правде, не совсем. Так, наполовину, но уже соображал. Рабочий день не по часам – по свету, от зари до зари. А еще через неделю ездовой, из местных, в баню нас пригласил. Он работал водовозом, возил на бричке воду в кадке – для фермы. Сам на козлах, а бочка на пассажирском сидении прилажена. Иногда он возле нашей фермы останавливался на работу нашу поглазеть да покалякать, а потом и пригласил.

С баньки этой всё и началось.

Банька была славная, протоплена хорошо, с дымком. Хозяин ее, водовоз, лет уже был преклонных, но на вид крепкий. Фамилию носил красивую, казачью – Есаулов. Сперва он веником нас отхлестал, а уж потом себя начал. Ухнул воды на каменку, крикнул и пошел жварить в две руки, мы только переглядывались. Поинтересовались, сколько же годков папаше.

– К семидесяти, сынки, к семидесяти...

– Хорошее здоровье, отец.

– Да-а... Бог миловал. Батя за сто прожил и мне наказывал...

Ну и дед, ну и водовоз!

Еще в предбаннике, когда раздевались, я обратил внимание на правое его плечо, на шрам. Глубина его и форма, в виде воронки, подсказывали – Есаулов воевал. Я таких шрамов в детстве в банях рассмотрел – на всю жизнь хватит. Пулевые, осколочные, ножевые – всех сортов. Это была осколочная, глубокая и с вывертом. Судя же по тому, как он нас хлестал, кости у деда в плече не были ломаны, либо срослись хорошо.

Потом мы пили чай у него дома. Есаулов жил один. Чай пили с брусничным вареньем. А еще после пили водку, по чуть-чуть, по стопочке, под свежие папашины огурцы. Для знакомства. Водка была наша, еще в Ленинграде купленная, на всякий случай. К водке мы и палтуса прихватили, копченого, целую штуку. Папаша от рыбки сомлел, а нам приятно.

– Вашего брата, халтурщиков, кажин год здесь бывает, так я всех в бане мою... Да-а. То хранилище строили, там, за Тополями, – Михаил Ерофеевич (так, кстати, звали Есаулова) махнул рукой в сторону окна, как бы указывая, где они, эти Тополи, – то хранилище, теперь вот коровник...

Две бутылки водки на семь человек – не очень густо, но папаша спьянел. Не так чтобы, но покривел.

Во-первых, в годах мужик, не нам чета, а, во-вторых, стопки мы ему наливали попопней, по-русски, уважительно. А дед пил. Крякал, как в бане на полке, и пил.

Разговор покружил немного вокруг коровника, около наших заработков и перешел на Сталина.

Есаулов был за вождя. А мы не спорили, старшой было попытался, но дед возвысил голос и скомандовал:

– Всё, что пишут в газетах, – брехня!.. Читать противно, да-а... Сталин был за мужиков...

Ну, охренел, похоже.

– Да за каких мужиков? Он их на канале да в колхозах перегноил, а потом еще и в войну угробил.

– Э-э! Нет! Ты молод, – это он мне, – ты молод, парень, про войну-то... Сталин сына своего не пожалел? Не пожалел... Вот! Сына не пожалел, а?

Сшибало, что Есаулов споры такие водил не однажды и Якова, как туза козырного, спорщикам показывал сразу, нате, мол, смотрите, это вам ни в жисть не перешибить.

Ну, как ему было все объяснить, да и стоило ли?

А Михаил Ерофеевич тогда разоткровенничался. То ли от водки, то ли от нутра своего природного. А, может, палтус сработал.

– Я до самого Берлина дошел. Всю войну... Всяко повидал, да-а... Вот вы мне, вот вы, скажите, сколько немцев одной пулей можно прострелить?

Мы переглянулись.

– Это как – одной пулей?

– А просто... Поставить в колонну, и ба-бах!

– Ну, отец, у тебя и вопросы.

– О, молодые, значитца. Не знаете. А прострелить можно только двоих, ну и еще половинку. Не берет наш автомат трех... не берет, да-а...

Показалось, что он сожалеет о том, что автомат такой слабый.

Мы умолкли.

Есаулов сидел во главе стола, лысый, смуглый, с крючковатым носом, как уставшая хищная птица, и я осознал своими чуть-чуть алкогольными мозгами, что дед этот не только верит в Сталина...

– Вы что, Михаил Ерофеевич, видели это со стороны, или сами...

– Сам! Нешто со стороны... Повел пленных в штаб, полдороги провел и убил. Поставил в колонну и убил. С одного выстрела...

– А зачем?

– Убил – и всё... Пленные ведь...

– Один?

– Что – один?

– Вы были один?

– Нет, с напарником. – Он замолчал. И тут же, словно спохватился. – А что это ты про напарника?

– Да так, интересно... – Я смотрел на него, и мне показалось, что дед вроде как протрезвел. Ну, это только вроде, а там как узнаешь?

В ту ночь я не заснул. Алкоголь прошел, да его и было не густо, в голове прояснилось. Об этих штучках армейских я слышал не однажды, но всё с чужих слов, а тут сам исполнитель. Может, врет? А что напарник? Я ворочался, искружил себе все бока. Чертов дед! Однако делать было нечего, нужно было встать и брать перо.

Около пяти утра я встал, взял ручку, бумагу и перешел в другой класс. Жили мы в сельской школе. Старенькая такая деревянная одноэтажечка. Сюжет рассказа, который предстояло писать, уже сформировался. Начинало зариться, я пристроился к окну и написал первые слова. Я написал: «Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...»

Перечитал – нормально. Пожалуй, так и будет...

Наш старшой – Олег Тарунин – нашел меня в половине седьмого.

– Ты чего, Сергей?

Я взмолился:

– Олег, пишется... Дай отгул.

– Обурел? Какой, к черту, отгул? На заводе, что ли? Брусья нужно заводить...

Он посмотрел на исписанные мной листы и ушел. Вернулся минут через пять.

– Ну, ты даешь! Ладно, пиши... Условие такое: вечером читать будешь, понравится ребятам – отгул, не понравится – прогул, – и руками развел. – Ребята решили, я не при чем.

– Годится, Олег... Годится. – Я знаю, что это с его подачи. Жучара!

В конце концов пусть будет прогул, если пишется, то нужно писать, отложишь на потом – и всё. Потом это уже не придет, если и придет, то совсем не так – и звук не тот, и вкус. С другой стороны, прогул мне совсем ни к чему. Это, если на круг, рублей на сорок потянет. Заводской аванс!..

Вечером, после ужина, я читал ребятам свой рассказ. Жюри расселось за парты и замерло. Рассказ был сырой, перебелить бы его, но некогда.

Волнуясь и хрипя, я начал:

– «В степи. Рассказ. – Сделал паузу. – Пуля пробивает двоих и застревает в третьем.

Ей не хватает силы. Убойной...»

Через минуту, примерно, окинул глазами ребят и понял – слушают. Голос мой окреп, хрипота прошла, и корявости некоторых фраз я правил уже на лету. Потом вспомню, если что.

Рассказ был короткий, и прочитал я его быстро. Когда закончил, то заговорили все. Когда все – это хорошо.

– Ну, давайте первое – отгул или прогул? – это Олег.

Посоветовались, поспорили и присудили (с натяжкой!) – отгул.

А потом началось – почему так, почему не эдак!

– А откуда ласточка в степи? Если ласточка, то и вода должна быть, если уж не река, то хотя бы озеро...

С водой справились тут же, сообща, – вот там, где дорога изгибается, пусть она и подойдет к речушке. А что? Вполне убедительно. Если дорога крюк делает, то всегда к воде.

– И всё-таки что-то здесь не так. – Это опять Олег. Он у нас не только по должности старший, но и по возрасту. К его советам я прислушиваюсь. – Не так здесь что-то, Серега. Хотя, конечно, похоже на правду... Слушай, есть идея: отдай рассказ почитать водовозу!

– А что?! – почти хором подхватили ребята.

– Не, мужики. У меня почерк, – я скривил губы, показывая, какой у меня почерк, – сам путаюсь. Пахан не осилит, это не веником.

Олег взял листы, повертел в руках.

– Оно, конечно... А жаль.

На том и спать пошли.

Ребята уснули, а я опять без сна. Олегова идея гнала меня к столу, но я не пошел. Не пошел и всё. И уснул. И правильно сделал. На завтра отгула не было.

Рассказ я белил три вечера подряд. Писал почти печатными буквами, для водовоза старался. Так увлекся, что и про речку забыл. Потом уже вспомнил, но приписывать не стал: дед, поди, не поймет. Подумаешь, ласточка...

Есаулов к моим листкам отнесся подозрительно, но взял.

– Я здесь, Михаил Ерофеевич, случай тот описал... Ну, что вы говорили... Ну, про то, как одной пулей...

– Нешто интересно? – Дед сощурил глаза. – А?

– Да так, – я уклонился от ответа. Наверно, вот так он и на напарника смотрел. Там, в степи. Колюче, с прищуром. А, может, не так.

– Писака, значитца. Пушкин, што ль?

– Да пробую... Написал вот и сомневаюсь: сшибает на правду или нет? Вы, Михаил Ерофеевич, похожее пережили, может, что и подскажите?

– Ну как же... подскажите. Прицелился и вся подсказка...

Ох и дед!..

Подходя к школе, я оглянулся – у водовоза в горнице горел свет. Читает, нет? Может, бросил мои листки куда-нибудь в угол и забыл тут же. Мне очень уж хотелось, чтобы он их прочитал, и я представил, как он будет это делать. Разложит, поди, на столе листки, очки нала-

дит – они у него, наверно, с резиночкой через затылок, чтоб не сваливались, – и, шеvelя по-стариковски губами, станет читать:

В степи.

Рассказ.

Пуля пробивает двоих и застревает в третьем. Ей не хватает силы. Убойной...

Широкими обезумевшими глазами напарник Есаулова смотрит на рухнувших пленных, судорожно передергивает кадык, восторгается:

– Ишь ты... В бою бы так... – Это он с перепугу.

– В бою так не бывает... Помоги-ка!

Автоматчики волокут тела в канаву. Солнце палит немилосердно. Один из расстрелянных, третий, в котором застряла обессилевшая пуля, жив, и Есаулов, не целясь, навскидку, проводит короткой очередью по его, тронутым смертью, выпуклым зрачкам. Затем, так же молча, он ступает на дорогу и направляется в сторону, откуда только пришел. Напарник идет за ним. Стоит июль.

Где-то высоко над головой, в самой слепящей синеве, куда и глядеть больно, полощется жаворонок, такой неуместный в этот час, и трель его сыплется прямо на дорогу под кирзовые стоптанные сапоги двух солдат, неспешно идущих в сторону глухо ворчащего фронта. Обочь, над степным бездорожьем, параллельно проселку движутся три души. Они только что стали бездомными, вышли из убитых и теперь следуют за автоматчиками. Зачем они за ними идут?

Есаулов коренаст, невысокого роста, рябой. Оспины не глубокие, светлыми пятнышками. На вид ему лет двадцать семь. Сбитые сапоги и выцветшая гимнастерка, ладно обтягивающая плечи, выдают в нем вояку. Руки длинные, сильные, нос горбатый, скулы прожаренные солнцем, буры – крупными красными пятнами, а по ним оспины. Хмельной русский чуб вылез из-под пилотки и свалился на правую бровь. Жарко.

Напарник Есаулова совсем пацан. У него голубые глаза и черные волосы. Волосы жесткие и короткие, торчат из-под пилотки, как проволока. Сапоги на нем тоже старые и гимнастерка выгоревшая, но во всей его фигуре, такой долговязой и ломкой, даже неопытный глаз и тот определит молодого. Шику есауловского нету. Он из пополнения, из учебки. Вообще-то он сибиряк, из охотников. Ну, это к слову...

На смену безумию всегда приходит раскаяние. А поступок Есаулова воистину безумен. Что двигало им, когда он, ни слова не говоря напарнику по конвою, поставил пленную тройку в плотную колонну, отступил со спины на пять шагов и одиночным из автомата повалил их прямо на дорогу? Проверил убойность автомата? Вот, проверил... Что теперь? А что – что теперь? А теперь ничего, теперь совесть собственная, три бездомных души, напарник и долгая дорога назад...

Стоптанные подошвы солдатских сапог наступают на осколки рассыпающейся Жаворонковой трели, дробят их еще на более мелкие хрусталики, а птица все сыплет сверху и сыплет, и кажется, что это не кончится.

Степь. Голая. Никого! Жаворонок, два автоматчика да эти души, что движутся, почти касаясь запыленных листьев лопухов и поникших от жары колючих головок татарника. Доколе им идти? Тела остались в канаве, а души – вот они, протяни руку и достанешь. Есаулов с напарником их не видят. Так устроено. И те, и другие молчат. Души говорить не могут, а автоматчикам говорить пока не о чем.

Если говорить, то о чем?

Есаулов облизывает пересохшие губы, перекидывает автомат с плеча на другое, криво усмехается:

– В бою так не бывает... да-а...

У жаворонка что-то ломается, должно быть, струна лопается. Смолкает трель, и сразу начинают отчетливо работать в траве кузнечики – то часто: цык-цык-цык, то протяжно: цы-ик, цы-ик...

Солнце переваливает за полдень, самое пекло, а двое идут и идут, и кажется, что конца их пути не будет. Фронт рокочет, глухо ворочается и медленно перемещается влево. Это так кажется. На самом деле это дорога уходит вправо, к речушке забирает, а фронт все там же.

Да... Фронт там же. И там же, в той же землянке, сидит, наверно, сейчас Шаповалов, командир шестой роты, капитан. Утром говорил:

– Ты, Есаулов, – говорил, – там, в штабе так и скажи: не сопротивлялись, мол, сами сдались. Пусть допросят, а там уж как порешат. Сам вертайся, к вечеру обернешься. Должен...

Пленных было трое, привели ночью из поиска. Разведка в поиск, а они навстречу с поднятыми руками. Бывает же... Двое грубых, заматеревших, а третий – сосунок. Глаза светлые и выпуклые, как у коровы. Напарника в сопровождение Есаулов выбирал сам, из пополнения. Молчун попался, ну да бес с ним, Есаулов и сам-то не больно разговорчив. Полдороги молча прошли, теперь вот назад развернулись. И опять молчком. Сопроводительная бумага, что утром на скорую руку написал капитан, лежит у Есаулова в нагрудном кармане, рядом с аккуратно свернутой для раскурки газеткой. Есаулов о той бумаге забыл, лезет за газеткой в карман и машинально вынимает записку. Разворачивает, смотрит и, сминая ее в кулаке, косится на молодого. Молодой о записке знает, присутствовал, когда Шаповалов ее передавал. Глаза их встречаются.

О чем может сказать один взгляд, даже если он быстр, как молния? О, один взгляд может сказать многое...

Есаулов (думает): «Зачем я его взял с собой? Чертова кочерга... (Так он в мыслях называет напарника.) Один бы справился...»

Кстати, еще утром он и не думал убивать пленных. Он думал отвести их в штаб и сдать. Мысль одной пулей убить троих пришла ему в голову дорогой. Хотя ведь как сказать – дорогой. Вообще-то эта мысль в его мозгу, как ржавый гвоздь в горбыле, сидела с самого начала войны, с первого расстрела пленных. А что? Если пленных расстреливать одной пулей нескольких, то что в этом плохого? Они наших очередями, а мы бы ихних одиночными... Хорошо бы, конечно. Но тут вопрос сколько ставить на выстрел: троих, четверых? А, может, пуля и пятерых прошьет? Попробовать бы, а тут и случай как раз – что надо, пленные – вот они, рядом! Зашевелился ржавый гвоздь в горбыле, неумоги Есаулову стало...

Теперь Есаулов знает: с пяти шагов пуля пробивает двоих. Слабые пули, однако...

Напарник (думает): «Зачем он меня взял с собой? Зачем он вообще это сделал? А быстро-то как, так он и меня убьет... Запросто. Странный тип, убил и молчит. Старлей в учебке про такие вещи не говорил, старлей говорил, что наши солдаты самые гуманные, без суда ни-ни, а вот фашисты – это звери. Что же получается-то?»

Есаулов: «Перед Шаповалом выкрутиться можно будет. Можно сказать, что расписку в штабе не дали – забыл спросить, или еще что, можно чего-нибудь придумать – про побег там, про налет... А что Кочерга? Болтанет – и крышка, кокнут как самосудчика».

Он сворачивает сигарку и раскуривает ее.

«Вот чертова незадача. Напрасно, пожалуй, я их стрельнул, да уж больно случай хороший. Их ведь всё равно шлепнули бы, как и тех. «Тех» тоже из поиска притащили, двоих, правда. Головня вон поболтал на ихнем минут двадцать и руками развел – рядовые, бестолковые, ни хрена не знают. Талдычут одно – Гитлер капут, капитулирен. Ну и что? Свели их утром на зорьке в рощу березовую и «капитулировали». Тайно и быстро, чтоб особисты не пронюхали. Жаль, Головню, убили, он бы и с этими поговорил, тоже небось ни черта не знают, не из генералов. А вообще-то их ведь все равно шлепнули бы. Ну не на дороге, так за шта-

бом, в кустах каких-нибудь, в логу. Подумаешь, суд, трибунал, они вон наших без трибуналов чикают, а мы что, хуже?»

Есаулов успокаивает себя, но успокоение не приходит. Помнит – тот случай перед наступлением был, а тут передышка, и команда была ясная – доставить в штаб.

«А если они убежать хотели? Ну, если побежали! Тогда убить их самое правильное. Может, они разведчики, может, на это и рассчитано. Раз бегут, значит, враги... Это – если бы кадыкастого рядом не было. Расскажет ведь, сука. Вон, глазами стреляет, смотрит себе под ноги, в пыль дорожную, да думку думает. А думка, поди, одна, как Есаулова заложить. Нет уж, хрен тебе, на Есаулове в рай не въедешь».

Снова звенит жаворонок. Тот же. Отремонтировали кузнечики ему струну, и вот спешит он опробовать ее, взвился в синеву и захлебывается оттуда переливчатой трелью, всю округу обсыпал. А тут и ласточка откуда ни возьмись – шасьт через дорогу! Напарник замедляет шаг, вскидывает голову к небу – где ты, серая птичка, чему радуешься?

Тень от него, постоянно маячившая перед Есауловым, вдруг исчезает. Есаулов вздрагивает и оборачивается. Кочерга идет медленными мелкими шагами, загребает кирзухами пыль и смотрит в небо. «Жаворонка смотрит, от дурак!»

Напарник и впрямь высматривает жаворонка, но еще вполглаза следит за Есауловым. Он видит, как тот вздрагивает, как быстро и зло оборачивается. Такой, стало быть, вопрос.

И тут молодой отмечает, что не помнит, дослан ли у него патрон в патронник. Он оставляет жаворонка – пусть себе, – смотрит в пристальные глаза Есаулова. Кажется, дослан... «Чему учил старлей в учебке? А старлей учил – вставил диск, дошли патрон и на предохранитель. Предохранитель – святая святых!» Он незаметно ощупывает левой рукой планку, автомат на предохранителе. Значит, патрон в патроннике. Конечно же, в патроннике!» И тут высвечивается в памяти – и как проснулся, и как его Есаулов нашел, и как он автомат готовил. Легче стало. Вроде. «Есаулов что-то совсем захмурел, о чем думает, интересно?»

А Есаулов идет и пасьянс раскладывает. Может, он и слова-то этого не знает, но раскладку делает. А раскладка не получается, мешает кадыкастый, сбивает всё, и хоть ты што!

«Расписки штабной нету, а должна быть. Шаповалов – жох, накидает вопросов, и все проявится.

– А кому, – спросит, – пленных передали, а в каком звании, а росту какого, а масти?

И пошло, и поехало, штабников-то Шаповал всех почти знает.

Конечно, эти вопросы можно продумать, не первый год замужем, штабников-то и Есаул знает, да только Кочерга врать не станет, зачем ему врать-то. А может, его и не спросят, а – спросят? Скажет всё как было, и крышка тебе, Есаул... Поставят к осине, и одиночным, чтобы экономно, Есаул, экономно! В затылок... А вот когда череп лопається, слышит это человек или нет? Когда оглоблей звезданут, то слышит, а когда пулей?... Ну и мысли!»

Он цыкает сквозь зубы на дорогу – слюна густая, цыкается плохо – и смотрит на придорожные, сизые от пыли лопухи. Ему чудится, что над лопухами тень проходит. Странно, в небе ни облачка.

Тень эту и кадыкастый замечает. А может, это мерещится обоим, и нет ничего на самом деле, может, это ветром листы шевельнуло. Может, и ветром, а может, и тень.

Души расстрелянных совершенно не видимы, прозрачны. Это если сквозь каждую душу смотреть в отдельности. Если же их совместить в колонну и посмотреть сквозь, то прозрачность нарушится. Солнечные лучи в них увязнут. Тогда и появится легкая тень, как от ласточкина крыла, – шасьт только... Может, это она и была, тень-то, может, ее и заметили автоматчики? Может, и ее.

Наконец кадыкастый нарушает молчание.

– Как звать-то тебя? Все молчишь и молчишь...

– Меня-то? – Есаулов останавливается. Останавливается и кадыкастый. – Меня-то? А Петром зови... Петром Тимофеевичем.

– А меня Андреем, фамилия – Сохань. Андрей Сохань. – Напарник фамилию свою назвал твердо и ударение подчеркнул – на «о».

– Вот и познакомились. – Есаулов хочет улыбнуться. Получается плохо, натянуто. Он пытается завязать разговор. – А ты молчун, однако, в сутки десяток слов – по норме, што ль?

– Из тайги я. Не привык к словам.

– А-а... Не привык, так не привык... – Разговор не вяжется.

Они стоят друг против друга как раз посреди всего – посреди степи, посреди дня, посреди войны и, в конце концов, посреди России. А между ними лежит полоска пыльной травы, той самой непокорной травы-муравы, которую испокон веков бьют на проселках копытами крестьянские кони, никак не выбьют.

– Не жалко мужиков-то? – Это Андрей.

– Не жалко. – Есаулов проводит ладонью по подбородку, по высохшим и от того побелевшим губам. – Черт, утром брился, а борода уже как наждак... Не жалко. Нашел тоже мужиков. Это мы с тобой мужики, а они – фрицы. У немцев не бывает мужиков. – Он прикусывает нижними зубами верхнюю губу, мгновение молчит и добавляет. – Всё равно им труба...

– Всё равно не всё равно, а без суда нельзя. – Сохань передергивает кадыком, как затвором, и упирается глазами в Есаулова. Он волнуется. Есаулов это замечает, в нем крепнет мысль: «Расскажет салага. Вот незадача».

«Ну, что ты, Есаул, разве это новость для тебя? Знаешь ты об этой задаче, знаешь! Не ее ли решаешь битый час, да только не раскладывается пасьянс. И не разложится».

Так думает Есаулов номер один, а Есаулов номер два знает, что всё разложится. Второй Есаулов давно уже не сомневается в этом, решение само придет – до фронта далеко, идти еще и идти, мало ли что дорогой случится.

И всё-таки:

– А мы с тобой – это разве не суд? Вот решим сейчас, что убили их при попытке к бегству, и кто нас проверит?

– Они не убегали, они сами в плен сдались, зачем им бежать? – Сохань не понимает намека или делает вид, что не понимает. Если последнее, то очень искусно.

– Да ты дурак, парень! Ну, не бежали, а ведь могли и бежать.

– Могли, да не бежали.

– Ха! Я ему про Фому... Ты знаешь, что мне за это будет?

Сохань молчит.

– А за самосуд мне будет вот что, – Есаулов проводит большим пальцем правой руки по горлу и вверх. – Пинчикрекс называется.

– Значит, теперь ты должен убить меня.

Он говорит эти слова так спокойно, что Есаулов вздрагивает.

Жаворонок звенит, как взбесился. Солнце. Пахнет теплыми полянами. Степь совершенно голая, никого. Стоят на проселке друг против друга два русских солдата, утром еще не знакомые, а в два часа пополудни уже враги, и разделяет их узенькая полоска травы, той самой... Стоят два солдата, сжимают ладонями ремни автоматов, смотрят в глаза друг другу и, как разойтись, не знают. Затекли пружины в автоматах...

– Почему это – убить? – У Есаулова голос вдруг охрип, будто в горле пересохло. Теперь он кадыком передергивает. Сохань это замечает.

– Потому что они не бежали... Потому что кровь их безвинная, а такую кровь только другой кровью смыть можно – либо чужой, либо своей. Свою тебе жалко. Вот.

– Ну, раздул кадило... Брось эти мысли и пошли давай, нам еще топтать и топтать. – Есаулов улыбается и чувствует – улыбка получилась. Это хорошо.

Затем он коротко машет рукой, как бы приглашая в путь, резко поворачивается на девяносто градусов, почти по уставному, и твердой походкой идет в прежнем направлении. Он идет и жадно слушает. Во время разговора заметил Есаулов, что автомат у напарника стоит на предохранителе. «Будет щелчок, нет?» Щелчка нету. Нету и нету... «Проклятые нервы! Голос-то как просел, как у молодого петуха. Заметил ли? Наверно, заметил. Вот тебе и молчун, вот тебе и из учебки... Ах ты, Кочерга! Нехорошо, что впереди иду, кстати, и шагов что-то не слышно». Ухо Есаулова жадное, проявись желанный звук – тут же отметит, но звука нет, даже шагов не слышно – стихли. Он идет и идет. Он знает – дорога у них одна. И всё же не выдерживает, оглядывается.

Сохань далеко. Он уходит в сторону фронта прямо через степь, почти перпендикулярно дороге. Дорога потом свернет, наткнется на речку и свернет, они еще утром обратили внимание на этот крюк, но это будет не скоро, к тому времени Сохань намного опередит Есаулова. Как плохо получилось! А может, и не плохо, а? Думай, Есаул! Быстро думай!

Есаулов прокидывает глазом расстояние и передвигает ползунок прицельной планки. Расстояние пулевое! То, что нужно, – Есаулов не сомневается в себе. Сохань шагает не оглядываясь, мосласто размахивая правой рукой. «Кочерга! Как утром надел автомат на левое плечо, так и не сменил ни разу». Длинная фигура его четко обозначена. Хорошо видна пилотка, небрежно сдвинутая на затылок. Старики так пилотки не носят. Взгляд Есаулова остр.

Он становится на правое колено и привычно совмещает в прорези мушку и спину уходящего. Очередь должна быть короткой, в два патрона, как в тире. Уже указательный палец плавно ведет спусковой крючок, уже привычно замирает всё в груди, когда три души, те самые, выстраиваются в колонну между стрелком и целью. Есаулов вдруг замечает, что он не видит мишени. Вместо четкого силуэта обозначилось серое размазанное пятно. Зрение его никогда не подводило. Есаулов протирает глаза, сдвигается интуитивно вправо и целится снова. Контур уходящего человека опять четок. За какую-то долю секунды до выстрела цель снова размывается, снова превращается в серое пятно, но очередь уже не остановить.

– Ту-тук. – Две пули, одна за другой, прошивают бездомные души и улетают за четвертой.

Есаулов видит, как Сохань останавливается, тянет с плеча автомат, разворачивается лицом к стрелявшему и падает на спину. Все это так мед-лен-но! Не слышно, как он грохается длинной своей спиной о земной шар, и тем более не слышно, как щелкает планка предохранителя.

Стрелок встает. Отряхивает с колена пыль. У самых ног его ласточка – шась, почти сапог касается.

Убийце всегда хочется посмотреть на свою жертву.

Сохань лежит на спине, широко раскинув ноги. Голова запрокинута, кадык торчит, правая рука под себя подвернута, левая отброшена, сжимает автомат. Внимание Есаулова задерживается на подошвах сапог: изношенные, они светятся желтыми шляпками гвоздей и кажутся такими ветхими, такими неземными. «Вот и всё, Кочерга! Какой день поганый выдался... Ишь ты, автомат-то как зажал, аж пальцы с...»

Есаулов не успевает додумать, договорить. Он вдруг всё понимает, он стонет от досады, рвет с плеча автомат, но поздно. Очереди нет, звучит одиночный выстрел – тук! Пуля бьет Есаулова в правое плечо и разворачивает его. Чуть-чуть. Он роняет автомат, сгибается от боли и левой ладонью зажимает мокрое. Кровь стучит сквозь пальцы, рукав гимнастерки быстро темнеет.

– Я же говорил, что тебе свою жалко.

Сохань стрелял с левой руки, как из пистолета. Старлей учил такой стрельбе. Хороший старлей. Сохань – левша. Есаулов об этом не знал, да разве в этом дело.

Потом Сохань разорвет нижнюю свою сорочку и перевяжет Есаулову рану. А еще потом с места последнего события в разные стороны уйдут: в сторону фронта – два русских солдата, а в сторону расстрелянных пленных – три души...

Июль, село Кухновское.

Есаулов разбудил нас в шесть утра, как раз перед побудкой. Слышу голос:

– Мне писаку вашего!

Это он с нашим дежурным. Встаю быстренько, похоже, прочитал, иначе чего бы так рано приперся. Кстати, Есаулов уже мне не понравился.

– Серега! Иди, водовоз твой пришел. – Это дежурный. Есаулов после читки моего рассказа и ребятам не нравится.

Я умылся, вышел на крыльцо. Заря вполнеба. На детском буме, низеньком и сильно подгнившем, спиной к школе сидит Есаулов. Трава в росе. Прохладно.

– Здравствуйте, Михаил Ерофеевич. – Мне очень уж хочется, чтобы рассказ походил на правду.

– Брехня всё это, Пушкин! – Лицо у водовоза помятое и злое. Он потряс листьями, аккуратно свернутыми в трубку, и встал. Встал, но тут же сел.

– Да я не говорю, что правда. Хоть похоже?

– Похожа, похожа... Свинья на ежа, да щетинка не та. Слыхал?.. Напарник первый в меня пальнул, первый! А ты что пишешь, да еще – в спину. Это раз. – Он встал, выпрямил указательный палец. – Потом, вот... э-э, – он раскрыл листы и, отыскав нужное место, прочитал: «...идет и пасьянс раскладывает». Это что за хреновина?

– Это игра такая в карты, пасьянс называется.

– Во-во, я так и подумал. Я в эти карты ни в жисть не играл, кроме как в дурачка. А ты што!.. И не в степи это было. Потом души какие-то, ты богомольный, што ль?

– Ну, могло бы и в степи. – Я на души не отвлекаюсь. Что ему души?

– Могло... Как же! В степи всё видно, в степи своего стрелять – это тебе не в лесу, где сумрак... Убил-то я пленных в Литве, а там леса кругом. Потом мы на хутор зашли, там и разругались. После, когда уже от хутора с километр отошли, он в меня и пальнул... Первый!

– А вы, Михаил Ерофеевич, а вы?

– Отстань... – Есаулов умолк и нахохлился.

Вот тебе и водовоз! Кокнул, значит, напарника. Выходило, что так, а как иначе, если пальба пошла, если узел смертно завязан?

Он опять сел на бум, уже солнце из-за кустов вылезло, уже ребята с крыльца два раза махали – айда завтракать, а он всё сидел и сидел, нахохлившись, как серая тяжелая птица...

Наконец я спросил:

– А Шаповалов?

– Это кто? – Есаулов очнулся.

– Ну, капитан ваш, ротный.

– А-а, Рябинин-то... Откуда ты на мою голову свалился? Писака чертов!

– Как откуда, Михаил Ерофеевич? Это ж вы меня заставили писать. Поубивали пленных, напарника вот... Я-то здесь при чем? Просто захотел с вами посоветоваться, может, чего и подскажите. Про сумрак я как-то не догадался, мне казалось, что всё на свету должно бы быть, чтоб все это видели – и жаворонок, и ласточка – и чтобы вы обязательно промахнулись, а напарник бы вас – чик, и живого в роту привел... Ну, как в рассказе.

– Ох, шустрый какой... В роту! А кто бы тебе тогда про это рассказал?

– Да уж... Но всё-таки Шаповалов догадался или нет?

– Рябинин!!!

- Пусть Рябинин, Михаил Ерофеевич, пусть. Догадался или нет?
– Без догадок узнал, когда связь со штабом наладили. Звонил...
– Ну?
– Баранки гну! – Есаулов матерно выругался. – Ишь чего захотел. Погиб он, погиб. – И
раздельно. – В бо-ю!..
– Ну, дед! Ты ж преступник, дед! Как живешь?
Есаулов молчал.
– Давай сюда рассказ! Еще сто лет жить собрался!
– Рассказ? А вот не хочешь, – он сунул в мою сторону кукиш. Ноготь на большом пальце
желтый, грубый, в крючок загнут. – А вот тебе, вот, – он вскочил и, развернув трубку, разодрал
всю пачку на четыре части (а я-то старался!). Разодрал и обрывки в карман сунул. Сунул в
карман и медленными тяжелыми шагами пошел со школьного двора. Около ворот остановился.
– Не было этого, слышишь, не было! Всё выдумки!.. Собачьи!..
Когда я вернулся к ребятам, каша уже остыла.
– Ну, что дед? – Олег правил оселком топор.
– Говорит, что брехня это. Говорит, нельзя в степи убивать. Видно, говорит. Считает, что
лучше это делать в лесу, там сумрак...
– Ну и дед!
– Ага... дед... напарника кокнул, признался. Где-то в Литве, говорит. И ротного,
похоже...
– Вот! – Олег хлопнул себя по колену и отложил топор. – Вот! Я же говорил, что что-
то в твоём рассказе не то. Понимаешь, матерый вояка, с гвоздем в башке и... промахнулся.
Нельзя ему промахиваться...
– И пусть нельзя. – Я отхлебнул холодного чаю. – Андрея убивать не буду. Понимаешь,
убью Андрея, значит, надо и Шаповалова убивать... Цепочка-то связана. А там еще прицепится
кто-нибудь. Пусть уж лучше Есаулова растробуналят.
– Конечно, пусть. – Олег усмехнулся. – В баньку пригласил, убивец. Веничком! Бр-р...
Подъем, бригада! Три венца заведем и за стропила возьмемся...

Коровник близился к финалу, завели венцы, вывесили стропила. Водовоз мимо нас
больше не ездил. Рассказ я перебелил еще раз, менять ничего не стал. Про речку не забыл.
Там же, где дорога крюк делает, и прочертил ее. Речушка... Узенькая такая. Ну и ладно, пусть
узенькая, главное, чтобы ласточка напиться могла.

А рассказ мой тогда не напечатали. Я его в «Звезду» носил. Сначала приняли, похвалили,
а потом отказали. Нетипично, мол...

Бабка Ганя и нехристь

Бабке Гане шестьдесят два года, живет она в хате одна, и хата эта на улице предпоследняя. За последней хатой сразу луг начинается. Деревня зовется Сосновка, хоть ни в самой деревне, ни в округе никаких сосен нет. Повсюду только степь. Ковыль, полынь, сурепка с крапивой да колки березовые реденько, а вдоль пшеничных полей лесопосадки. Алтай же... Где-то он горный, а здесь степной...

Деревня Сосновка – это тридцать два двора в ряд. Этот ряд носит название – улица Сосновка. И деревня Сосновка, и улица Сосновка, и дома все четные, и сам шут не разберет. Но был на этой улице один дом все-таки нечетный. Стоял он по другую сторону дороги как раз посеред улицы и был этот дом магазином. Из бревен, приземистый, с блестящим замком на двери, он стоял перед деревней, как поп перед своей паствой с блестящим крестом на пузе. Вообще, этот магазин в рассказе не при чем, просто для полной ясности. Замок открывался редко и то под вечер. Соль там, спичек кому, водки четушечку. Хлеба в нем не было отродясь, деревенские своим обходились, а вот хомут с вожжами на прилавке лежал. Кто его купит, коней-то частных всех извели? Но лежал... А вдруг! Вот такая была деревня – из одной улицы. Окна всех построек на восток повернуты. Калитки открываются прямо на дорогу. Так что если с юга въезжаешь, то вторая хата бабкиганина.

Бабка Ганя еще крепкая, а бабкой зовется потому, что бабка, потому, что уже у нее внуки есть. Когда-то родила она двух сыновей, но теперь осталась одна, сыны в город подались, там и семьями обзавелись, там и внуков нарожали, туда и маманю сманывали, но бабка Ганя сказала коротко: «Не хрен чужие сопли жевать, от своих отбою нет...». На нет и суда нет; с сынами зналась, невесток почитала и о внуках помнила, но из деревни ни ногой, здесь родилась, здесь жила, здесь и хозяйство свое вела. «Здесь, сказала, и подохну...»

Но до смерти пока далеко, а хозяйство вести надо. Хозяйство, прямо скажем, было невелико – огород для картошки-маркошки, коза пуховая для молока да шерсти, чтобы внучатам носки теплые вязать и десяток кур с ядреным красным петухом отличных бойцовских качеств. Ничего бы больше и не надо, но без кошки-то в деревне как? Без кошки в деревне никак, мыши одолеют. Была такая кошка и у бабки. Только кошка не кошкой была, а – котом.

Кот этот самый главный герой нашего рассказа, об ём и речь.

Звали его очень серьезно – Нехристь! Откуда кличка прилипла, бабка не знала, вроде как ребятня местная позднее уже прилепила, да и сам он откуда взялся на подворье, тоже не знала. Как партизан-налетчик, явился среди бела дня со стороны ботвы картофельной, из огорода, то есть. Явился и сразу же козу шуганул, потом кур потревожил не шибко, потом весь двор обошел с вниманием, мол, чего здесь подделать, чего сломать да сжечь надо, и на крыльцо сел прямо по-хозяйски. Вылитый покойный дед Данила. По шерсти – сибирский, густого начеса, рыжий. Просто дед и всё тут!

Бабка коту подивилась: «какой красавец!», но со двора не погнала, еще ко всему и молоком козым напоила – голодный же, поди. А какому, скажите, коту молоко не понравится!

Соседи позже приходили, гадали – чей такой объявился? Никто не признался, значит, ничей, значит, теперь бабкиганин.

Надо сказать, что кот был гордый. Об ноги чужие не терся, ходил важно, хвост держал трубой, на живность дворовую власть свою не распространял, петуха уважать стал сразу. Такой клюв! Да еще и крылья к нему. А к этому арсеналу пара шпор кривых. Как не будешь уважать?

Так всё и распределилось – петуха он обходил стороной, кур и козу не шугал, к бабке питал чувства особые. Козье же молоко, говорят, целебное! За это молоко он платил бабке Гане мышами пойманными. Он их не ел, брезговал, что ли? Наверно, брезговал, или порода не позволяла. Он их просто ловил, душил и на крыльцо выкладывал. Утром выйдет бабка Таня на

порог, а там уже – когда одна мышка, а когда и три. Лежат себе дохленькие и Нехристь рядом, глаза свои зеленые в сторону шурит, вроде он и не при чем. Подумаешь, мышь! Мелочь... Вот крысу бы задавить – это да, да только где её взять эту крысу.

Бабка мышей на помойку отнесет, прикопает землицей, а Нехристю молочка козьего – бух! Пей, мол на здоровье, умница ты моя...

Так он и прожил с бабкой Ганей и год, и второй. И всё было бы нормально, если бы на третий год в середине мая, ближе к июню, на первом отделении, свинарник не скovyрнули. Старый был свинарник, довоенной еще постройки, из самана слепленный. Похилился от времени набок, матицы провисли, да еще и свиньи углы подрыли и порешил председатель – ломать развалюху надо, не ровен час рухнет и беды наделает. Подъехали два трактора, хором рявкнули и превратили этот дворец в груды глины саманной и гнилых, обгаженных свиньями, досок. Вот тогда-то и разбежались по всей округе крысы. Много их там было! На дармовом корму чего не жировать! Какие убежали к двум ригам, какие в степь, а те, что поумней, в Сосновку двинулись. Крестьянские дворы – это же не хуже свинарника, в смысле еды. Тут тебе и куры, и гуси, и свиньи тоже. Зерно есть, каша есть. Лафа, короче! Досталась одна крыса и бабке Гане.

С приходом серой гостьи бабка Ганя сначала спать перестала. Как уснешь, когда по всей избе по ночам шмон идет. То нора роется, то ларь прогрызается, то писк, то просто топотание, как будто кто копытный по полу бегаёт. Затосковала бабка Ганя и даже платок на голову повязывать стала криво, ночной недосып днем добирать начала. А где это видано, чтобы крестьяне днем спали, да еще летом. Нехристь это, конечно, приметил, в тоске-кручине бабкиганиной разобрался, но поделать ничего не мог. Крысу он почуял с первого дня, войну объявил тут же, но крыса от схватки уклонилась и обосновалась в подполе. Подпол – это подполье, не хуже партизанского, и в руки не возьмешь, и тропинок не заметишь. Нехристь наверху, а крыса внизу, под досками, в самой темноте. И, главное – что, то проявляется, а то дня два-три ни звука, как будто сдохла. А потом опять. И всё наглей и наглей становится. Ларь с мукой прямо на виду, вот, под носом, можно сказать, проела. Сумку с сухарями по всему сараю растрясла. Бабка Ганя её, проклятую, уже вживе дважды видела. Здоровая...

А Нехристь, вроде как, и смирился, или хитрил, хотел, чтобы крыса совсем бдительность потеряла и подумала бы, что Нехристь не боец, а так себе, для мышек и не более. Так и получилось. Крыса наглела, наглела и переобнаглела, а делать этого было нельзя.

Как-то утром бабка Ганя курам в корыто, что посреди двора стояло, зерна ковшиком высыпала и за вторым в сени направилась. Только к порогу подошла, как сзади куры тревожно кудахнули. Повернулась бабка на кур и перекрестилась правой рукой прямо с ковшиком вместе:

– Ай-яй...

Посреди корыта, нахально отвернувшись от белого света, в самом зерне сидела крыса. Крысища! Сама в корыте, а хвост кирзовый на улице, на земле. Горбатая, цвета белесого, с темными подпалинами, и с двумя ушами! И это, почитай, уже почти днем. Сидит зверюга, в зерне роется, а куры обочь стоят, головы набок схилили и на крысу смотрят, не шелохнутся. Бабка Ганя и докреститься не успела, как из-под ее ног метнулось рыжее, просто пламенное облако. Это был Нехристь. Только представить надо, как он хотел с этой крысой встретиться! Так хотел, так хотел, что, аж, когда взвился, то из него даже огонь полетел. А, может, бабке Гане этот огонь только померещился. Брызнуло зерно из корыта, шарахнулись куры, какая вверх, какая вбок, заверещала крыса истошным голосом, но верещать было поздно. Бой был стремительным и окончательным.

На крысу приходили смотреть соседи. Хорошая была крыса, вместе с хвостом если, то на полметра потянет, и мужики, которые были, заслугу Нехристя оценили очень высоко. «Такую крысу, сказали, не всякий кот победит». А потом соседские пацаны привязали крысу к веревке и потащили ее по пыльной дороге, пугали кур и уток, крутили ее над головой, пересказывали

всем драку кота с крысой, привирали и до того дофантазировались, что даже вспомнили как Нехристь в прошлом году удавил какую-то не очень большую собаку. Здесь, надо заметить, что если бы около Сосновки был забор метров триста длиной из некрашенного белой краской горбыля, то за право покрутить крысу над головой, этот забор можно было бы покрасить с двух сторон в два слоя. Крысу над головой на веревке крутить, это не кошку дохлую по дороге таскать. А желающих покрутить крысу почти полдеревни, и, главное, городских много, дачников.

Фантазия мальчишечья фантазией, но слава Нехристю была обеспечена. И к нашей досаде, слава эта Нехристю пошла не впрок. Коты, наверно, как и люди, от славы дуреют. Такая звездная высота, шутка ли? Самый смелый кот!

Перво-наперво он ослабил свое внимание к мышам. Ловил, но без прежнего рвения. Когда за ночь одну мышь поймает, а когда и за три ночи ни одной. Бабка Ганя на это внимания не обратила, как-то не до того было, да и любила она Нехристя. А когда любишь, разве дурное увидишь, да еще если этого дурного и нет. Мышей меньше? Так, может, их действительно стало меньше.

Перед самым июнем у бабки Ганн пополнение объявилось. Две паруньи привели двадцать одного цыпленка. Одна парунья свой выводок привела официально, из сеней, из куриного гнезда. Девять штук. А другая парунья оказалась самопровозглашенной и без всяких указаний высидела в бурьяне в огороде, в крайних лопухах, своих, еще двенадцать штук. А двенадцать да девять это как раз двадцать один цыпленок и будет. Бабка Ганя и не обрадовалась, и не загорилась. Где десять, там и двадцать. Еще неизвестно сколько там курочек. Как бы не петушки.

Двадцать один цыпленок и каждый желтенький, только у одного на самой макушечке черное пятнышко. Сверху, наверно, меченый. Наверно, не напрасно, напрасно ведь в жизни ничего не делается. Сначала Бабка Ганя их в тазике на одеяльце под марлей держала, в тепле, а когда они совсем пообсохли и тиликать громче да веселей стали, подпустила их к квочкам. Квочки их еще лучше пообогрели, под крыльями своими большими подержали и однажды днем выкатилось на двор под высокое июньское солнышко желтое кружево из двадцати одного цыпленка. Паруньи между собой не ссорились, детсад свой охраняли, а кружево день ото дня светлело, становилось шире, растекалось по двору и стало заползать куда попало. Цыплята смелели, жизни еще не знали, отбегали от квочек в стороны, а Нехристь жизнь уже знал. Смотрел он на эту беготню цыплячью, смотрел и помутился у него разум. Съедал он цыплят по одному в день. Ел он их втихаря под дровами. И понимал, что не дело делает, но справиться с собой не мог. Бабка Ганя заметила потраву на четвертый день. В тот день Нехристь съел Меченого. Цыплят осталось семнадцать и бабка Ганя весь вечер ломала голову: чья же кошка до цыплят повадилась? На Нехристя и грешить не думала. На следующий день цыплят осталось шестнадцать. О-хо-хо...

Нехристь был пойман с поличным на девятом цыпленке. Бабка Ганя аж зажмурилась, когда увидела как Нехристь понес цыпленка под дрова. Еще живого... Вот тебе и чужая кошка!

Уже в сумерках, прикрыв кота в хате, бабка разобрала поленницу, раздвинула нижние жерди и лично убедилась в котовом вероломстве. Она веничком смела цыплячий желтый пушок, убрала его на помойку, где также, как и дохлых мышей, присыпала землей, а вот дрова в поленницу складывать не стала: пусть пока так будут.

В ту ночь бабка Ганя уснуть не смогла. Какой сон, когда такая беда нагрязнула! Как же так, мышей не ест, а цыплят – нате... В прошлые годы ведь ничего, а? Как же его, рыжего сатану, отучить от этого паскудства? Может, побить? Хворостиной... За всю свою жизнь деревенскую бабка Ганя всякое повидала – и хорьков, и лис, и корсаков, но, чтобы кошки, в смысле коты за такое дело брались, не помнила. Помнить не помнила, но от родителей знала, что, если кошка цыплячьей сладенькой крови попробует, то всё – дуреет она от такой вкуснятины. С ума сходит! Снаружи нормальная, а внутри дурная. Внутреннее сумасшествие! И выход тут только один – кошку нужно или утопить, или положить под топор. Голову, короче, отрубить.

О такой кончине для своего Нехристя бабка Ганя и думать не могла. Это ж какое безбожие, к животине камень привязывать. К человеку камень, может, и можно привязать, потому как разумный, а к животине не годится. Тем более, что это кот, а коты плавать не умеют. У котов в этом разе даже шанса никакого на выживание. А уж о топоре бабка Ганя и думать не могла, хотя топором владела – и петухам, и курам бошки рубила легко. Жизнь деревенская, она ведь кругом на смертях замешана. То кабанчика колют, то бычка, а уж о птице и разговору нет. На то она и птица, на то он и огород. Выращивай и пользуйся. Но здесь же кот. Нехристь! Нет, думала бабка Ганя, я вот с ним утром поговорю, я вот его пристыжу, я ему скажу: ах ты, бесстыдник, скажу, что ж ты, скажу, творишь, а? Я тебя молочком пою, мясом балую, а ты что удумал? Варнак... Бабка Ганя так размечталась, так раздумалась, что и не заметила, как в голос заговорила.

Утром встала рано-прерано, еще ни свет, ни заря, еще Сосновка спала, кроме петухов, конечно. Те уже вовсю горлопанили. Нехристя она позвала негромко прямо с крыльца. Кот отозвался тут же. Он смотрел на бабку глазами чистыми, просто ангельскими, и никакого греха за собой не чувствовал. Сгребла его бабка под мягкие рученьки, и, поглаживая, понесла к дровам. Затем она ткнула его носом, не больно так ткнула, в остатки желтенького пушка и начала его стыдить:

– Рази ж так можно, а? Что ж ты вытворяешь, а? Я цыпляток ращу, ращу, а ты... Рази ж тебе молока мало? Если мало, так и сказал бы, я б тебе по две миски наливать стала, мне, ить, не жалко, пей на здоровье... Э-эх, ты, срамник... – Бабка Ганя приговаривала, а Нехристь слушал её, вроде, как понимал, и шурился, вроде, как ему стыдно было. Потом она его отпустила, убрала остатки пушка, что с вечера недоубирала, и сложила дрова.

В тот день Нехристь съел двух цыплят. Съел он их под дровами. Под теми же. Втихую.

Бабка Ганя, не зажигая в хате свет, весь вечер сидела в потемках, смотрела на Нехристя и голова у нее на две части разламывалась. Вот горе-то, и откуда взялось? Бабка Ганя никогда еще так мучительно длинно не думала. К Нехристю она сильно уже привыкла. Живой, ласковый, речь человеческую понимает, и вдруг... утопить. Как же это, а? А что люди скажут, такой мышелов был, крысу вон какую победил. Разумная душа в избе! А как с ним в зимние ночи сладко спалось. Бабка под одеялом, а он поверх одеяла в бабкиных ногах. Уютно обоим, не передать как. В трубе гудит, под окнами мороз похаживает, а бабке Гане с Нехристом хоть бы что. А, может, он и впрямь изнутри сдурел и уже не поправится? Моих цыпок поест, к Фроловне пойдет, там тоже во дворе не пусто. Стыд-то какой! Ах ты, Нехристь, Нехристь... То по одному ел, теперь по два.

Долго сокрушалась бабка Ганя, а выхода всё не было. И топить жалко, и рубить не лучше, и оставлять нельзя. Думала, думала и придумала. А когда придумала, то и спать легла. Знала бабка, что утро вечера мудренее, и, может, к утру еще хорошая какая мысль объявится. Всякое бывает... Сон к бабке пришел сразу, притомилась быстро, видать. Легла и как провалилась...

Утром встала, умылась, позавтракала, Нехристя молочком попоила, а поскольку новая мысль не объявилась, то она, как и задумано было, из сундука достала и одела новую кофту, сынов подарок, не быстро яркий, в самый раз по годам бабкиным, плат на голову повязала темный в белый мелкий горошек, Нехристя в сумку запихала, сумку замком запечатала, но не плотно, дырочку для дыхания басурману оставила и с первым автобусом уехала к старшему сыну в город. Поехала, поехала, но не доехала. А на кой шут сыну этот кот? Варначина этот? Во-первых, он к природе привык, к кошкам деревенским всяким дратым, к молоку опять же свежему козьему. А в квартире что? Дане чего это бабка решила, что сыну такой подарок будет по душе? Здоровый рыжий кот... Котьяра! И в квартире городской! Да он, дикой, там все занавески в клубок смотает, гадить где попало будет, старый же уже, к туалетам не приучен. Не...

Не доезжая до города одной остановки, бабка Ганя сошла со своей поклажей с автобуса и пересела в обратный путь. Она уже знала, что Нехристя она топить не будет, а вот голову ему отрубить придется. Никуда не денешься. Судьба.

Колода, на которой бабка Ганя рубила своим петушкам да курочкам головы, стояла с краю двора ближе к сарайке. Широкая колода, старая, суковатая – никаким топором не разрубить. На таких колодах мясники в мясных лавках в городе туши мясные разделяют. Шофер с проезжавшей не здешней машины лет десять тому за бутылку водки столкнул через ограду прямо из кузова к бабке во двор эту калабаху: – «рубить тебе, бабка, кур, не перерубить!». Колоду столкнул, водку забрал и больше она того дядьку не видела.

Соседи, два мужика, еле-еле эту тяжесть к сарайке перекатали и «на попа» поставили. Так и осталась эта чурка на долгие годы стоять посреди двора на одном и том же месте и летом, и зимой, как мрачный эшафот, и было ее не шевельнуть, не сдвинуть, такая была она тяжелая да приземистая.

Нехристь из сумки выпрыгнул легко, встряхнулся после долгой и непонятной для чего дороги и уселся на крыльце. Квочки с цыплятами шумели по двору, они сами себя не пересчитывали и свой урон не знали. Есть еще от прежнего больше половины, а это по куриным мозгам много, ну и ладно.

Бабка Ганя переделась, чистое убрала, не в новой же кофте топором махать. А топор был в колоде. Воткнул на чуть-чуть, чтоб торчал, а не валялся. Топор был хороший, острый, сосед неделю назад свой точил, и бабкин заодно подправил, дело-то соседское.

Ну, и пора бы... Но бабка Ганя медлила. Она прошла по двору, оглядела цыплят, пересчитала их еще раз, все были на месте. А вот Нехристь с крыльца исчез. Сидел, сидел и нету. Учужал неладное, что ли? Кошки, они сметливые. Но дело было в другом. Нехристь приготовился к охоте. Бабка Ганя увидела его под дровами, под теми самыми жердями, где он цыплят пожирал. Ах, гад!.. Он не сидел, он лежал и внимательно смотрел на цыплячий хоровод. Он смотрел, прищурился свои зеленые глаза, а кончик его хвоста нервно вздрагивал. Нехристь готовился к атаке. Бабку Ганю не проведешь, бабка Ганя много чего в жизни повидала, не однажды приходилось ей наблюдать как кошки воробьев ловят, как у этих кошек хвосты трепещут. Картина: один в один. Успеть бы не дать ему прыгнуть.

– Нехристь, Нехристь, – бабка Ганя скорой походкой, елейно причитая, направилась к коту. Кот понял, что охота не получится и вылез из-под жердей. Бабка Ганя ловко так подхватила его под желтенькие ручки и на едином дыхании посадила на колоду, где и попыталась его положить на живот. Нехристь лег, как и просили. Лежит и глаза щурит. Хорошо лежит, лапки вперед, морда на лапках, кончиком хвоста пошевеливает. Но он же Нехристь! Он лежит, а глазом зырит как бабка Ганя левой рукой освобождает топор, как правой рукой крестится, как переводит топор из левой руки в правую, как делает этой рукой короткий замах и он даже слышит как свистит лезвие топора. Но он же Нехристь! Это был такой кошачий взвизг, это было такое рыжее пламя, что вся живность, шляющаяся по двору с писком и кудахтаньем куда-то пропала. Была живность и не стало. Ни живности, ни кота, только ошарашенная воплем и прыжком Нехристя бабка Ганя около колоды, да глубоко засевший в колоду, отливающий ржавым обухом, топор.

Бабке Гане бластилось, что голову Нехристю она-таки отрубила, а вот куда всё исчезло – и голова и тулово было непонятно. В то же время ей виделось, что Нехристь весь вместе, клубясь рыжим пламенем, исчез в картофельной ботве. Пришел из картошки, в картошку и канул. Партизан! И все-таки... Что же случилось?

А ничего особенного не случилось. Нехристь же! Сатанинскую кличку за просто так не дают. Понял котяра, что это расплата пришла и в последний момент ушел из-под удара. Уйти-то ушел, но пару правых крайних когтей с правой лапы оставил под топором. Отсекла ему

бабка Ганя два коготка, потому и взвизгнул Нехристь не кошачьим голосом. Больно басурману было. Еще бы! Такие боевые когти. Притом – два!

У бабки Гани уже и злость прошла, уже и жалко кота стало. Она топор из плахи вынула, коготки с подушечками и желтой шерсткой на ладонь положила, подумала, подумала и выбрасывать их не стала, а пристроила на блюдечко, которое и поставила на полочке в сарае. Зачем? Может, на память. Пусть лежат, а вдруг Нехристь еще и вернется. Нехристь же... Узнает, что о нем печалятся, коготки его хранят, и вернется.

Но кот не вернулся. Ни к вечеру, ни под утро, ни через неделю. Долго еще бабка Ганя с надеждой поглядывала на огород, не мелькнет ли в зеленой картофельной ботве кто-нибудь рыжего окраса. Но нет, Нехристь исчез вообще. Его не видели ни в Сосновке, ни на ближних отделениях. Словно в воздухе растворился. Превратился в желтое пламя, вспыхнул и растаял, как будто и не было.

Уже потом, через время, когда бабку Ганю спрашивали соседи, куда, мол, крысодав подевался, то бабка Ганя поджимала губы, смотрела собеседнику в глаза и с достоинством говорила:

– Украл Нехристя. Ездют тут на машинах всякие, а кот не дикой был и видный. Прознали, наверно, что он крыс легко побеждает, вот и украли.

Ну и ладно. Украли, так украли... Плохое не воруют.

Однажды ночью

Этот отпуск я провожу в деревне. Всё здесь хорошо, всё здесь незнакомо – и люди, и дома, и лес. Хозяйка, у которой квартиру-юсь, женщина пожилая, лет семидесяти, но живая, всегда в хлопотах домашних. То по воду до колодца спешит, то в огороде полетя, то живности жарчку готовит: свинье сечку, уткам-курам картошку вареную мятую с отрубями да зерном пшеничным перемешанную. Кошкам молока, собакам суп какой, а тут еще голуби с крыши свалятся, им тоже чего-то надо, зернышко какое, семечко подсолнечное. Голуби пришлые, залетели на чердак через стекло битое, что на фронтоне, гнездо на чердаке, в самом углу, устроили, разворковались и с тем прижились. Кошки на чердак не ходили, хоть лестница туда и вела, но люк на чердак был всегда закрыт. Там, на чердаке, сети хозяйские хранились, капканы, дробь в мешочках, гильзы латунные, то есть, всё, что по делам ружейным да охотничьим использовалось, но сырости не боялось. Хозяин дома был добытчик. Битый войной, в труде сельском себя не нашедший, добывал семье на жизнь сетями, капканами да ружьем. Во время моего приезда он уже болел. Болел сильно, болел болезнью нехорошей, той самой, о какой в домах если и говорят, то шепотом, одними губами. Лежал он в горнице на старинной деревянной кровати с филенчатыми спинками, с деревянными шарами по углам, весь в чистоте и аккуратности. Иногда он разговаривал, но крайне мало. Когда Агафья Яковлевна (так звали хозяйку) меня ему представила и он узнал чей я родом буду и кто меня сюда на постой рекомендовал, улыбнулся:

– Знаю Бобрыша, знаю... Жив, Пашка, значит? Хороший мужик...

Потом еще раз я с ним разговаривал. Говорил он тихо, лампадно, говорил о смерти.

– Умереть не страшно, – говорил. – Пожил свое, дай бог другому. Страшно другое. Вот как засунут меня в яму, да сверху глиной метра с два придавят... Как я эту тяжесть перемогу?

Что я мог ответить на такой сакральный вопрос? Ничего. И я пытался успокоить хозяина, что, мол, всё еще образуется, болезнь, мол, отступит и он еще поправится. Врал, короче. Но он всё знал, он улыбался и даже как-то весело говорил:

– У меня не рак. У меня другая болезнь. Рак был у Андрея Щербакова. Вот это рак так рак! Андрюха от боли своей всю улицу с ума сводил, а у меня не болит. Значит, не рак, а вот что – никто не знает... Но я скоро уже уйду. Чую... Человек, он как и животное, гибель свою, если она не случайная, а по сроку подошла, заранее знает. Вот ты еще и не уедешь, а я уже умру...

Такие разговоры хоть и коротенькие меня из колеи выбивали надолго. Характер у меня такой. Увижу удавленника – петлю себе примеряю; увижу утопленника – по дну речному ползать начинаю; увижу стреляного – так под сердцем не только пулю, целый патрон с гильзой латунной чувствую. Так что я хозяина избегал, как бы. Он ведь не о жизни думы думает, а мне для моей, по-особому организованной, души смерть пока ни к чему. Наслушаюсь, надумаюсь, навоображась да еще и сам загнусь...

Живу я не в хозяйском доме, мне выделена пристройка. Хорошая такая пристройка, емкая. Из бревен рубленая когда-то под баню, она баней не стала и кухней летней не стала, и свинарником не стала, а стала чем-то вроде завозни. Здесь и хомут от бывшей гнедухи, здесь и литовка, и бочки из-под соления, а через дверь комната не большая, но отдельная и с кроватью, и с окном, и с лампочкой электрической. Кой-какую утварь Агафья Яковлевна с моей помощью убрала, полы намыла, коврики самотканые постелила, кровать огладила, ведро с водой и ковшиком, в ведре плавающим, чтобы пить было, в углу на табуретке приладила и заслонкой, в смысле крышкой деревянной, снабдила. Живи, квартирант! Я и живу.

Почти каждое утро я хожу на рыбалку. Рыбалки здесь славные, не в смысле крупные, а в смысле уловистые. Окуньки, чебачки, пис-карики. Иногда подъязок прибудится. Утречко проведу – полведерка наловлю, хватает всем – и нам, и кошкам, и соседям. Рыбка очень вкусная, потому как речка ничем не загажена. Течет с гор и течет, и ни из каких труб помойных в

нее ничего не сливается. Точь в точь как до Потопа. Кто в ту пору допотопную жил, тот знает. А по вечерам, когда природа просто отдыхает, когда и на осинах лист не лопочет, а благодать вселенская стоймя стоит от земли до самого космоса, как свечка в церкви, когда над ней и пламя не колыхнется, мы с хозяйкой беседы ведем. Она всё понимает, смерть мужнину сердцем чувствует, но говорить об этом не хочет, да и что об этом говорить. Здесь, что ни слово, то и слеза. Где ж их слез этих наберешься? О планах своих она ничего не говорила, но иногда в разговоре проскакивало, что доживать она здесь не будет. К младшему сыну, похоже, голову свою склонит, от него, вроде как, тепла больше идет, да и последний он, самая кровиночка. Но это ж так планируется, а ведь как бывает, планы плануются, а кто-то сверху что ли, глядит на это глядит, а потом в одночасье возьмет и всё порушит. Иногда, когда хозяйка по делам свои занята, я беру литовку, легонькую семерочку, и иду за огороды, в низину, где траву для хозяйской коровы без особого нажима и подкашиваю. Я родом из таких же краев, в смысле сельских, и мне минут двадцать-тридцать покосить за милую душу, тем более, что литовочка очень ловкая, шустрая да скользкая. Как щучка...

Мне оставалось до отъезда один день, когда утром я проснулся от голоса, доносившегося из хозяйского дома. Причитала хозяйка. Я всё понял, но было еще темно и деревня спала. Тем не менее, надо было что-то делать, как то обозначится. Я совершенно не знаю как себя вести, только знаю, что дело это деликатное, тонкое, особенно в деревне. Свои привычки, свои законы. Всё вроде так, а чуть-чуть да и не так. Хозяйка, видя, что я уже на ногах, подсказывает, что делать надо. Перво наперво из крепких досок сколачиваю лежак по росту и располагаю его в горнице на двух табуретках. Хозяйка покрывает доски белым, куда мы с ней и укладываем покойное тело. Хозяин легкий. Выболел. Потом Агафья Яковлевна зажигает свечу и ставит ее в изголовье на блюде, и говорит, что в дом надо привести отпевалку. Я понимаю об чем речь и робко пытаюсь возразить:

– Рано же еще, пусть рассветет немного.

– Что ты, родимый! Когда это еще рассветет? А он что ж, так и будет чурочкой лежать?

Деревню я уже знаю и по указанному адресу иду за отпевалкой. Деревня спит, а слух уже по ней прошел. Уже соседи увидели, что у Яковлевны свет в доме горит, что молоток стучал, и они все знают, что в этом доме вот-вот горе объявиться должно. Наверно, объявилось. Отпевалка собралась быстро.

Чуть забрезжил рассвет и в дом потянулись старики да старушки. Старушек больше. Я в дом не вхожу, но знаю, что в доме творится какое-то таинство, покойного обмывают, курят травы пахучие, жгут свечи, и потихоньку молитвенно поют. Лицо у скорби везде одинаково.

День проходит в суматохе. Только суматоха эта упорядоченная. Пришел сосед и зарубил трех гусей, я чищу картошку, бегаю в сельсовет, ношу из колодца воду. Я живу здесь уже почти месяц, я уже свой и сидеть, сложа руки, мне никак нельзя. Успокаиваемся только к вечеру, когда ясно, что к похоронам всё готово. Хоронить надо завтра. Август. Жарко.

Ночь душная и звездная-звездная. Мне не спится совсем, во мне всё возбуждено и я выхожу на подворье. Небо высокое и светлое. Млечный путь так обозначен, что невольно думается, будто это давно когда-то звезды из огромного ведра широченной струей выплеснули. По всему небу струя прошла, от края до края, как зерно по подворью, клюйте, мол, птицы небесные. Они и клюют. То там сторит звездочка, то там. Листва на тополях-осинах молчит, около дверей дома белеет крест и крышка гроба, в окне комнаты неяркий свет. Я долго стою, долго курю и, наконец, решаюсь войти в дом.

По местным приметам в ночь около покойного помимо родных должны быть обязательно и чужие люди, и если чужих не будет, то это нехорошо. Я чужой. Вхожу и осторожно присаживаюсь на свободное с краю место. На меня никто не обращает внимание, ко мне в деревне уже привыкли, я свой. Покойный укрыт саваном. У изголовья с одной стороны сидит вся в черном хозяйка. Она осунулась и потемнела. На столике, покрытом белым покрывалом, на блюде

лежит хлеб, стоит стопка с водой, рядом с блюдцем в стакане, наполовину заполненным рисом, горит свечка. Около хозяйки сидит дочь, она приехала на попутке из соседней деревни под самый вечер – пока слух дошел, пока собиралась, пока машину на трассе ловила, пока... пока... Но, слава богу, успела до заката, еще чего и помогла. По другую сторону от усопшего, по всей лавке, что вдоль стены поставлена, сидят старушки и бабы. Они негромко переговариваются. У стола, в молитвенном углу, где икона повешена, как раз против нее, стоит отпевалка. Перед отпевалкой лежит раскрытый псалтырь. Псалтырь толстый, разбухший и зачитан до темных пятен. Пахнет ладаном, свечой и духотой. Проходит времени немного, отпевалка перекладывает страницу в книге, крестится и начинает чистым голосом петь. Разговоры стихают. Пламя свечи колеблется, по горнице плавают легкие тени. Плечи хозяйки вздрагивают, она плачет. Беззвучно. Дочь уткнула лицо в концы темного платка, повязанного на ее голове, и сидит сгорбившись. Она не плачет. С лавки поднимаются старушки и начинают негромко, порой и не в лад, подпевать. Скоро их голоса слабеют, отпевалка остается одна, недолго поет и умолкает. После этого она нараспев произносит несколько раз «Господи, помилуй», говорит «аминь» и еще раз крестится. Вслед за ней крестятся старушки и рассаживаются на лавке. Наступает тишина, становится как-то легче всем, хозяйка уже не плачет и дочь плечи расправила.

На крыльце дома кто-то негромко бранит темноту и в горницу входит еще один посетитель. Женщине пришедшей на вид лет чуть-чуть за пятьдесят будет. Лицо ее некрасиво, губы толстые и немного вывернуты наружу. Она молча осматривает присутствующих, прислоняется к дверному косяку и, сложив руки на груди, громко спрашивает:

– Ну как покойничек, лежит? Не встал?..

Среди молитвенной тишины, среди скорби, мне эти слова кажутся такими грубыми, что я чувствую, как у меня начинает гореть лицо.

– Нет, Нюра, не встал, лежит сердешный, – хозяйка наклоняется к покойному и приоткрывает саван.

– Ну, стало быть, и не встанет.

Некрасивая Нюра проходит глубже в горницу и садится рядом со старухами. На их лицах ни тени возмущения, ни беспокойства, и я по их поведению, по ответу хозяйки понимаю, что некрасивая Нюра ведет себя нормально, что это она совсем не грубит, что просто вот она такая, с таким своим поведением и таким своим отношением ко всему. Иначе она, очевидно, не может. И – что? А то, что в горнице стало вдруг свежее, лицо у хозяйки посветлело, старушки зашевелились, шепотаться перестали. Я смотрю на Нюру – да никакая она некрасивая, нормальная баба, и губы ничего, толстоваты – так они такие у каждой седьмой русской бабы. Бабы с такими губами многим мужикам нравятся. Я смотрю на Нюру и думаю: вот сейчас она заговорит.

И, действительно, она начинает говорить.

– А я, девки, вот вам чо расскажу, – Нюра усаживается плотней и на отпевалку смотрит, как никак, а та здесь главная и Нюру знает хорошо, и если знак запретный Нюре показан не будет, то можно, значит, говорить. Все в порядке и Нюра продолжает, но обращается уже к отпевалке конкретно, то есть, всю свою сказку ей направляет.

– Ты, ведь, Поля, помнишь как Диму Хромого хоронили? Не помнишь? Да рыжий такой, ноздрятый, с губой, кобылой порванной. Не помнишь? Это третьего года было, в Сливянке, там, за Красным Яром. Умер Дима как раз в самую петровку. Жара была тоже, как и сейчас. Я там у сеструхи была, у Наськи. Ну и осталась на ночь с покойником попрощаться. Лежит он вот также, – Нюра кивает на покойного, – белым укрытый. А в избе душно, ночь-то теплая, вот бабы возьми и раствори окошко...

Все невольно смотрят на окно, а Нюра продолжает:

– Ну и лежит Дима, значит, и лежит. А мы попоем, попоем да и поговорим о своем о чем-нибудь. Ночь коротаем, она ведь рядом с покойником длинная. Дима лежит, а белое с него

до самого пола свешивается. Ну и ничего. А соседский парень, Гусачихи сын, с гулянок шел. Окошко открытое увидел, про покойника не мог не знать, сосед никак, и решил, окаянный, шутку пошутить. Нашел где-то длинную проволоку, и аккуратно, пока мы пением занимались, через окошко под лежак ее и просунул, под простыню, значит. Ага... Мы поем, а он, гад, проволокой своей и начал белое потихоньку шевелить. Я поначалу не видела, а чую, меня баба Луконя толкает локтем, мол, гля-гля, чо деется-то. Я, девки, как это увидела, так и сомлела. И все увидели. Простыню видим, а проволоку темненькую не видим, уставились на простыню, а она мелко-мелко так дрожит. Мелко-мелко, а потом всё сильнее и сильнее, а у меня уже и ноги отымаются. И вдруг простыня как подыметса, прямо дыбом над Митей стала, мы все с криком и поперли из избы. В сенях темно, мы попадали, орем. На улице только и очухались... Удумал же, варначина...

В хате все смеются. Негромко. Улыбаются отпевалка, хозяйка тоже.

Я потихоньку выхожу на крыльцо. На востоке начинает светлеть, уже петухи по краям деревни и в центре голоса подавать стали. Из дома опять доносится пение отпевалки. Мне скоро уезжать. За мной приедет машина. Когда приедет, не знаю. Похороны должны состояться до обеда, машина для похорон уже заказана, кладбище здесь рядом, могила отрыта и если мой транспорт задержится, то я еще и горсть земли кинуть на гроб успею, и во славу Божью пере-крещусь по этому случаю, и, конечно, из стопки пригублю. На поминках стопка, это, считай, дело, если и не обязательное, то желательное.

Я иду в пристройку и начинаю паковать вещи, благо их чуть.

Два Ивана

Иван Игнатьевич и Иван Васильевич – друзья. Друзья они еще с молодости, еще старинные, дореволюционные. Война фашистская потрепала их хорошо, но не шибко. Их потрепала, а дружбу нет, не тронула. Все сделала честно, каждому выделила по пуле, по простой. Разрывные в те дни в других краях летали. Одному из друзей пуля локоть попортила, а вот Ивану Васильевичу пуля легкое пробила и еще чего-то там задела, так что он задыхаться начинал, когда спешил при ходьбе. Приспособились они к бедам своим как-то не сразу, а потихоньку. Потихоньку с ними и свыклись. Один со своим больным локтем контакт установил, другой – с дырявым легким.

Здесь надо сказать, что их еще и врачи поддерживали. Справки инвалидные подписывали, таблетки выписывали, аспирины всякие, а из всего этого вышла каждому пенсия. Одному пенсия была положена в двести семьдесят восемь рублей, а другому в двести восемьдесят один рубль. В чем трехрублевая разница заключалась не знал никто. Группы инвалидности были у обоих трети. Да и ладно. Жирным от такой пенсии не будешь, но и с голоду не сдохнешь. А если подышать не собираешься, значит, за жизнь цепляться будешь, а у ней, у жизни этой для каждого столько всяких крючков да зацепок есть, только глазами не прохлопай, да губы не порви, а то подумаешь, что зацепка-выручалочка, а это как раз и будет самодур из хорошей стали кованый.

Третьего года в колхозе лошаденку, ослабевшую да изработанную, на махан списать решили. До Ивана Игнатьевича слух об этом дошел, он подсуетился и везение свое не прозевал. Председатель магарыч принял, бумажку подписал, в районе отметку сделал и стал Иван Игнатьевич богачом, шутка ли – в послевоенной стране у крестьянина конь в хозяйстве! Поухаживать за коником, овсом подкормить, хомутом перед мордой ни свет, ни заря не трясти и оклемается животино. Так оно и стало. Через два месяца у Голубка ребра исчезли, мослы попрятались, глаза заблестели и грива чуть не волнами пошла. Круп округлился. В кавалерию коняга, конечно, не стодится, но в оглобли запятить уже и не срамно. Сразу видно, что скотина хозяйская, гладкая, уши кульками ставить стала, а то они у ней до этого тряпками болтались.

А к этому коню да к этой дружбе у Ивана-то Васильевича свой приклад был. Супротив, как бы. Там конь, а тут сети рыбацкие хорошие – раз, а на два – лодочка одновесельная, в три доски высотой по борту. Легонькая, под одного гребца сработанная, варом просмолена, остроносая – в камыши как игла входила, без шороха.

При таком раскладе можно уже и планы расписывать. Дружба, она когда крепкая? Она тогда крепкая, когда интересы есть общие. А рыбацкий интерес в голодные послевоенные годы больших козырей стоил. Такую дружбу, на интересе замешанную, тяжело сломать, очень ум злой да глаз меткий иметь нужно. Были рядом и злыдни и завистники, но дружбу эту стороной обходили, не покушались. К коню, лодке, сетям у друзей вдобавок еще и ружья были двуствольные, шестнадцатых калибров. Так что охотников до злых шуток не было – друзей поссорить или нет, а вот без рыбки свежей останешься, да еще и пороху нюхнуть можно. Жизнь и без этих дрожжей такое заквасить сумеет, ни в какой бочке не удержишь. Не буди лиха... Тем более, что друзья никому худого не делали. Иван Игнатьевич зимой пимы катал, а Иван Васильевич всю зиму сети рыболовные вязал. Это зимой...

Но приходила весна...

В тот год она была не сразу дружная, а какая-то запоздалая. Всё терпела, терпела, а потом как ухнула. За одну ночь Алей из берегов вышел. Вообще-то, он к краям берегов уже с неделю как подбирался, он уже и льдины «на попу» ставил, а в ту ночь, наверно, с гор шибко подперло, утром встали, а море стоит до самого села, которое Вавилоном зовется, которое на другом

берегу Алея вдоль гривы раскинулось. Да и с этой стороны Алей уже у крайних огородов, где друзья живут, плещется. Хорошо!

Но подошли сроки и вода схлынула, проселки провяли и у друзей по всему телу зуд рыбацкий объявился. А если зудит, то хоть плачь, а чеши.

Сходились за полдень.

– Ну как, Ванюха, – это так Иван Игнатьевич к Ивану Васильевичу обращался, – свербит?

– Да, пожалуй, кум, – это так Иван Васильевич к Ивану Игнатьевичу обращался, хотя он ему никаким кумом ни с какого бока не был, – пора.

– Ну так и чо! Давай обмозгуем.

Обмозговывали они это дело неспешно до самого вечера. Водку не пили, не заведено было пить ее без всякой крайности. Чай, правда, хлебали, ну и курили, конечно, вспоминали прошлые рыбалки, а тем воспоминаниям края нет, и о будущем загадывали.

Главным вопросом было – какие сети брать. Каждому озеру в каждую пору своя ячея нужна. Иван Васильевич свои сети знал наизусть, своими руками вязал, каждый узелок затягивал, каждый поплавок из берёсты сам крутил, каждое кольцо грузиловое на куске рельсовом из проволоки выстукивал. Не шутка, брат... Поскольку сам я при таком сетевом хозяйстве детство своё провел, то многие секреты рыбацкие знаю и кое-какое отступление сделаю.

Сеть – это не как попало! Сеть сети рознь. Вязать ее искусство, а садить ее на поводки тоже уметь надо. Полотно сети вяжется из тонкой прочной нити. Покупали эту нить в раймаге, в коробках по десять тюрючков. Тюрючок – это катушка такая, из дерева на фабрике точеная. На тюрючок входит сто метров нитки. Нитки все под номерами. Десятый номер, двадцатый и так далее. Самый ходовой семидесятый. И тонкая нить и крепости, чтобы рыбу удержать, хватает. Десятым номером мне мама штаны латала и пуговицы отодранные пришивала. Крепкая нитка, но толстая, не сетевая. О капроновой нитке и слуху тогда еще не было. Фильдекосовая в мотках появлялась. По великому благу доставали ее барыги где-то и рыбакам сельским перепродавали. Тоже хорошая нитка была, но дорогая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.